

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд  
Кронин

ПАМЯТНИК  
КРЕСТОНОСЦУ

«ИНОСТРАНКА»





Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин  
**Памятник крестоносцу**

«Азбука-Аттикус»

1956

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Кронин А. Д.**

Памятник крестоносцу / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус»,  
1956 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-13494-2

Жизнь Стефена Десмонда была predetermined с самого рождения – сын священника, он был отправлен, согласно семейным традициям, изучать теологию, чтобы затем стать настоятелем в сельской глубинке. Однако душа Стефена воспротивилась подобной судьбе, он давно принял решение стать художником, увидеть мир и запечатлеть его в красках и линиях. Вопреки воле отца Стефен отправляется в погоню за мечтой, навстречу тяжелым испытаниям, горьким разочарованиям и великим надеждам.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-13494-2

© Кронин А. Д., 1956  
© Азбука-Аттикус, 1956

## Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	15
Глава IV	19
Глава V	25
Глава VI	31
Глава VII	36
Глава VIII	42
Глава IX	46
Глава X	52
Глава XI	57
Часть вторая	62
Глава I	62
Глава II	66
Глава III	71
Конец ознакомительного фрагмента.	74

# Арчибальд Кронин

## Памятник крестоносцу

© Т. Кудрявцева (наследники), перевод, 2017

© Т. Озерская (наследники), перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство Иностранка®

\* \* \*

*Не только в славе (а до недавнего прошлого и в свободе) отказано  
при жизни людям гениальным, но даже в средствах к существованию.  
Зато после смерти им воздвигают памятники и курят фимиам.  
Чезаре Ломброзо*

## Часть первая

### Глава I

День сменился вечером, и вся жизнь на холмах Даунс замерла – они застыли, залитые жемчужным светом. От покрытой росой травы, словно подернутой серебристым инеем, легкими облачками поднялись испарения и зацепились паутиной на живых изгородях, затянули тонким кружевом низины. Пруды походили на блюда с густым молоком, и в их матовой поверхности не отражалась даже луна, которая висела совсем низко над землей, круглая и желтая, как глаз огромной кошки, притаившейся перед прыжком на вершине горы.

В эту сияющую безмятежность внезапно упала длинная черная тень, отделившаяся от каменной норманнской церквушки, такой маленькой, такой затерянной среди просторов Южной Англии, что, несмотря на резкие очертания своей абсиды и крыльев, приземистую башню и стены, пестревшие лишаями, она казалась нереальной, как видение во сне; раздался грохот дубовой двери, лязг тяжелого запора, и появилась фигура человека – пожалуй, менее длинная, чем тень, но не менее черная. Это, разумеется, был священник Бертрам Десмонд, настоятель Стилуотерского прихода.

Он шел в накидке, наброшенной на плечи, но с непокрытой головой. Выбравшись из лабиринта замшелых могильных плит, он миновал два огромных сросшихся тиса, младший из которых по меньшей мере пять столетий назад уже поставлял сырье сассекским лучникам, распахнул калитку и очутился наконец на дорожке. Здесь он остановился, замороженный белизной этой ночи, охваченный внезапным приливом тайной радости, и, глубоко втянув в себя свежий воздух, залюбовался красотой своего надела – добрых двух сотен акров, простиравшихся в одну сторону от букового леса на высоких склонах Дитчли, а в другую – до поросшей дроздом песчаной пустоши, что тянулась вдоль проселочной дороги, ведущей в Стилуотер. Вдали, на востоке, на фоне неба вырисовывались очертания Кольца Чанктонбери, а пониже, среди деревьев, проглядывала нелепая, но такая милая сердцу башенка Броутоновского поместья. На запад уходила равнина, перерезанная меловыми разработками, зиявшими, словно бескровная рана, и грядою насыпей, которые якобы сохранились здесь со времен римлян, а скорее всего, были остатками старинных обжигаемых печей. Дальше виднелись домики рабочих, они стояли рядом – все шесть, – словно грибы, а повыше дороги слабо мерцали огоньки деревни. Внизу, у ног настоятеля, ярко переливался огнями его дом.

Дом был внушительный, в духе Георгиевской эпохи, с окнами в стиле Палладио и большим портиком, покоящимся на колоннах с каннелюрами и (счастливая мысль!) обнесенным балюстрадой, – словом, настоящий загородный дом; прапрадед нынешнего владельца каноник Хилари Десмонд построил его в 1780 году из местного белого камня (каменоломня, откуда он добывался, расположенная поблизости, к счастью, теперь истощилась). Сохранились и следы более ранних построек, относящихся к эпохе Тюдоров: кирпичный амбар и конюшня, различные службы, а также прелестная старинная стена из кремневой гальки и круглых камешков, опоясывающая обширный огород. И сейчас, окруженный нежно-зелеными лужайками, вдоль которых шел бордюр из клумб с тюльпанами и примулами и еще не вполне расцветшими розами, дом этот, стоявший на площадке, похожей на шестигранник солнечных часов, где с южной стороны, точно статисты в древнем хоре, выстроились ряды старых яблонь в полном цвету, а подъездную аллею охранял гигантский дуб, – этот маленький Бленхейм<sup>1</sup>, такой неот-

---

<sup>1</sup> Бленхейм – дворец в Англии, местопребывание герцога Мальборо. (Здесь и далее примеч. перев.)

делимый от всего окружающего и неизменный, его дом, в течение стольких лет служивший кровом Десмондам, преисполнил сердце настоятеля особой теплотой и гордостью.

Его предки осели здесь, должно быть, со времен Вильгельма Завоевателя. Один из них – его светлость д’Эсмонд, рыцарь, участвовавший в Крестовых походах, – лежал тут, в маленькой церквушке, под мраморной плитой с его изображением, от которого какой-то вандал-турист – увы! – отбил горбатый нос. И если фамилия их с тех пор несколько изменилась сообразно особенностям местного произношения (тут едва ли применимо «была исковеркана»), то разве это не означало, что они теперь связаны более прочными узами с доброй сассекской землей? Они преданно служили родине на трех поприщах, приличествующих дворянину: прежде всего – в церкви, а также в адвокатуре и в армии. Брат настоятеля, Хьюберт, после долгой и плодотворной службы на границах Афганистана ушел в отставку в чине генерала и поселился в «Симла Лодж», в пятнадцати милях отсюда. Тем не менее он продолжал поддерживать связь с военным министерством, а в свободное время занимался выращиванием груш по новейшим научным методам. На памяти всей их семьи только один из Десмондов опустил до торговли; в начале царствования королевы Виктории некто Джозеф Десмонд, брат деда настоятеля, вздумал открыть торговлю церковной утварью. Но поскольку дело это было в общем благое и принесло немалые доходы, дядюшкин промах считался хоть и достойным сожаления, но не таким уж непростительным.

– Добрый вечер вам, сэр.

Погруженный в свои думы, настоятель и не заметил коренастой фигуры старика Моулда, своего старшего садовника и одновременно церковного сторожа, который, прихрамывая, направлялся к церкви, чтобы запереть ее на ночь.

– Добрый вечер, Моулд. Я уже закрыл церковь, так что поворачивайте назад и пойдемте вместе домой. – Настоятель помедлил и хоть и не объяснил, зачем в такой неурочный час ходил в церковь, однако слишком велика была владевшая им радость, он не удержался и сказал: – Вы знаете, сегодня приезжает Стефен.

– Точно я мог забыть про это, сэр. Очень уж новость-то приятная. Надеюсь, у него найдется время поохотиться со мной на зайцев. – И совсем другим, более серьезным тоном добавил: – Видать, он скоро у нас и проповедником станет.

– Ему еще надо немного подучиться, Моулд. – Они шли рядом по дорожке, Бертрам улыбнулся. – Хотя вам, наверно, было бы куда приятнее слушать юнца, только что окончившего Оксфорд, чем такого старого чудака, как я.

– Нет, пастор, вы так не говорите. Уж я-то Десмондов знаю: не даром служу им пятьдесят лет. И чего-чего, а таких проповедей во всем графстве не услышишь.

Это трогательное доказательство чуть ли не рабской преданности их роду еще больше укрепило радужное настроение настоятеля. Терпкий запах примул показался ему необычайно сладким, а жалобное блеяние овец в загонах – таким трогательным, что он ощутил стеснение в груди. Ах эта Англия, подумал он, и тут, в самом сердце ее, – драгоценная жемчужина, этот Ноев ковчег, плывущий по волнам лунного света, его маленький приход, который будет приходом Стефена; здесь все подчинено прочным, раз и навсегда заведенным устоям, и ни время, ни обстоятельства не властны ничего изменить.

– Нам самим не справиться будет с багажом. Вы не скажете Алберту, чтобы он зашел помочь?

– Я пришлю его к вам, хозяин... ежели он дома. Больно много хлопот мне с этим мальчишкой. Не очень-то он услужлив. Но уж я его заставляю... можете не беспокоиться.

– Ничего, Моулд, со временем образумится, – рассудительно заметил Бертрам. – Не будьте с ним слишком строги.

Он расстался со стариком у приземистой сторожки с дверью под аркой и через несколько минут уже стоял в просторном холле своего дома, где его, по обыкновению, поджидала дочь Каролина. Она тотчас поспешила к отцу, чтобы снять с него накидку.

– Еще не приехал? – Он потер руки.

В холле был один серьезный недостаток – из-за высокого потолка и выложенного плитками пола воздух в нем был всегда промозгло-холодный, что не могли устранить даже батареи теплых труб.

– Нет, отец. Но они скоро будут. Клэр поехала за ним на станцию в своем новом автомобиле.

– Придется и нам обзавестись этой дурацкой новинкой. – Лукавая улыбка засветилась в глазах Бертрама, и его узкое лицо с запавшими щеками сразу утратило свою суровость. – Куда удобнее будет объезжать приход.

– Вы, конечно, шутите, отец. – Каролина, отличавшаяся практическим складом ума, была начисто лишена юмора и всерьез приняла слова отца. – Ведь вас так раздражают запах бензина и пыль. И потом – разве я плохо вожу вас в двуколке или вам надоел наш пони?

Предстоящее возвращение Стефена, несомненно, вывело ее из душевного равновесия. Она говорила с бóльшим пылом, чем ей этого хотелось, а ее некрасивое озабоченное лицо покрылось пятнами от бурливших в ней чувств. Но она была жестоко наказана еще прежде, чем успела пожалеть о своем тоне: отец посмотрел на нее отсутствующим взглядом, весь обратившись в слух, стараясь уловить шуршание шин на подъездной аллее. Каролина опустила глаза; ее рыхлое тело на коротких толстых ногах сразу как-то обмякло. Неужели он никогда не оценит ее безграничной преданности, не поймет, что ее единственное желание – служить ему? Ведь она только этим и занималась с минуты своего пробуждения, когда для нее начинался день, долгий день, и она, поспешно одевшись без помощи зеркала, взваливала на себя бремя хозяйства, совещалась с поваром о том, что подать на завтрак отцу, расставляла цветы в вазах, обходила сад и ферму, разбирала отцовскую почту, выпроваживала бесцеремонных посетителей, навещала больных прихожан, принимала высохших археологов и туристов, приезжавших на автобусе из Литлси и требовавших, чтобы им разрешили «осмотреть гробницу», и при этом еще находила время следить за бельем отца и штопать его шерстяные носки. А теперь вдобавок ко всему она ужасно простудилась и вынуждена то и дело сморкаться в уже насквозь промокший платок.

– Мама сойдет вниз? – осторожно осведомился настоятель.

– Думаю, что нет. Я, правда, натерла ей виски одеколоном. Но она чувствует себя все еще плохо.

– Значит, мы будем обедать вчетвером.

– Нет, втроем. Клэр сказала по телефону, что, к своему великому огорчению, не может остаться.

– Жаль. Ну ничего... приедет в другой раз.

В тоне настоятеля прозвучало сожаление, однако Каролина почувствовала, что, несмотря на свою привязанность к Клэр, дочери леди Броутон, владелицы соседнего поместья, и горячее одобрение, с каким он относился к молчаливому сговору между нею и его старшим сыном, в глубине души отец был рад, что проведет этот вечер в кругу своей семьи и что Стефен будет всецело принадлежать ему.

Сделав над собой усилие, Каролина сказала ровным голосом:

– Я еще не успела перепечатать ваши тезисы для завтрашней проповеди. Когда вы поедете в Чарминстер?

– О, должно быть, после второго завтрака. Тамошний настоятель – человек далеко не пунктуальный.



– Значит, в два часа. Я отвезу вас. – И вдруг добавила с ревнивым блеском в глазах: – У вас такой усталый вид, отец. А вам предстоит тяжелый день. Не задерживайтесь долго со Стефеном.

– Успокойся, Каролина. Кстати, я надеюсь, ты приготовила нам что-нибудь повкуснее.

– У нас будет сегодня луковый суп и лосось, которого прислал дядя Хьюберт из Тэста, с огурчиком и, конечно, под зеленым соусом; затем бараньи ребрышки с домашними бобами и молодым картофелем. На сладкое Бизли приготовила яблочную шарлотку с кремом, которую так любит Стефен.

– Совершенно верно, дорогая. Помнится, он всегда заказывал шарлотку, когда приезжал из Марлборо. Прекрасно. Постой-ка, это не мотор там урчит?

И в самом деле, послышался глухой ритмичный рокот; подойдя к двери, настоятель распахнул ее и увидел у подъезда небольшую закрытую машину «де дион», из которой, когда она перестала сотрясаться и вздрагивать, вдруг – словно из шкатулки с секретом – выскочили две фигуры.

– Стефен!

– Как поживаете, отец?.. А ты, Каролина? Дэви здесь?

– Нет еще... У него каникулы начнутся в понедельник.

В полосе света, падавшей из подъезда, возникла фигура худощавого мужчины ниже среднего роста во всем темном, который с трудом тащил большой кожаный чемодан, ибо сын Моулда так и не появился; мелькнули тонкие черты, красиво вырезанные ноздри, узкое задумчивое, пожалуй, чересчур серьезное лицо. Затем, выждав, пока семейство поздоровается с гостем, из темноты на свет вышла высокая девушка в шоферских перчатках и длинном клетчатом пальто. Даже нелепая шляпа с вуалью, напоминающая по форме пшеничную лепешку, – принадлежность автомобилистки, которую Клэр надевала, лишь уступая настояниям матери, – не могла испортить впечатления, производимого этой уравновешенной, хорошо воспитанной молодой особой. Тон, каким она заговорила, подойдя к маленькой группе у подъезда, лишь подкрепил это впечатление.

– К сожалению, нам пришлось оставить кое-что из вещей на вокзале. Моя машина слишком мала для сундуков.

– Не беспокойтесь, дорогая Клэр. Мы пошлем за сундуком завтра. – Настоятель отеческим жестом положил руку ей на плечо: – А вы бы не могли все-таки остаться с нами?

– Увы, никак не могу. К маме должны прийти люди из деревни... какой-то сельскохозяйственный комитет... арендаторы... Эту встречу никак нельзя было отложить.

– Ну что поделаешь! Не так-то легко быть хозяйкой поместья. Какой сегодня чудесный вечер, правда?

– Великолепный! Когда мы выехали из Халборо, было светло как днем... – Голос ее потеплел, она повернула голову; тень от уродливой шляпы сместилась, и показалось лицо с тонким, точеным профилем. – Стефен, правда было красиво?

Он стоял все это время молча и теперь, казалось, лишь с трудом вышел из своего оцепенения.

– Да, поездка была приятная. – Затем, словно чувствуя, что надо еще что-то сказать, добавил с несвойственной ему шутливостью: – Только в одном месте мне показалось, что нам придется выйти и подталкивать машину сзади.

– Это было на холме Эмбри, – рассмеялась Клэр. – Я плохо управляюсь с тормозами и никак не могла взять подъем. – Ее улыбка на миг сверкнула в темноте подъезда. – Не буду вас задерживать. Доброй ночи. Приезжайте к нам поскорее... Завтра, если сможете. И берегите себя, Каролина, вы совсем простужены.

Когда она уехала, Бертрам обнял сына за плечи и повел в дом.

– Как хорошо, что ты приехал, Стефен. Ты и понятия не имеешь... Впрочем, ладно... Как ты расстался с Оксфордом? И как вообще себя чувствуешь? Проголодался, наверно. Сбегай наверх – поздоровайся с матерью. А потом приходи обедать.

И пока Каролина, у которой глаза и нос покраснели от холодного вечернего воздуха, втаскивала в дом пакет с книгами, забытый на крыльце, отец стоял и смотрел вслед поднимавшемуся по лестнице Стефену с выражением нескрываемой любви, граничившей с обожанием.

## Глава II

После прекрасного обеда, умело поданного двумя горничными – простыми деревенскими девушками, великолепно вышколенными Каролиной, – настоятель, пришедший в благодушнейшее настроение, повел Стефена в кабинет, где уже были задернуты портьеры из драгета и в камине ярко горел превосходный корабельный уголь. Отопление в доме, правда, не отвечало требованиям современности, но камины были большие и топлива сколько угодно. Комната, куда отец с сыном прошли после обеда, была уютной, несмотря на обилие лепных украшений, – в ней было что-то приятное и веселое, бравшее верх над церковным душком, исходившим от письменного стола с выдвигающейся крышкой, на которой лежали проповеди Пьюзи, «Календарь церковнослужителей» и тщательно сложенный малиновый орарь. У камина стояли два потертых кресла, обитых коричневой кожей; у одной стены возвышалась стеклянная горка с разным огнестрельным оружием, у другой – витрина с монетами саксов, плодами археологических поисков настоятеля, а над камином, под чучелом лисьей головы, перекрещивались два охотничьих хлыста с костяными рукоятками.

Днем, готовясь к приезду сына, Бертрам прошел по подземному коридору в погреб и теперь со слегка виноватым видом взял запыленную бутылку, запечатанную белым сургучом, – она лежала у него на столе, – и, неумело вытянув крошащуюся пробку, налил в два бокала портвейн. Человек он был воздержанный, почти не притрагивался к спиртному и никогда не курил, но возвращение сына было событием, которое следовало отметить по установившейся в семье традиции.

– Эта бутылка была поставлена в погреб еще твоим дедушкой, – сообщил он, поднимая бокал с темно-красным вином и нарочито критическим оком рассматривая его на свет. – Это «Грэхем»... тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

Стефен, ненавидевший портвейн, буркнул что-то в знак одобрения из глубокого кресла, где он расположился с бокалом в руках. Его желают видеть в такой роли – что ж, придется подчиниться.

– Портвейн, по-моему, отменный, сэр.

Слова эти пришлись по душе настоятелю.

– Да, твой дед понимал толк в подобных вещах. Это он выложил холл внизу такими красивыми плитками. Ты ведь знаешь, что в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году проводилась осушка Южной луговины и добрая половина труб, с помощью которых это делалось, осталась. Тогда старик решил изрезать их на части и вставить в каждый кусок по бутылке, затем все это сложили в погреб, залили известью – получились настоящие соты... Он, конечно, не был пьяницей, но любил после дня, проведенного на псовой охоте, выпить пинту кларета. Он ведь ходил на охоту до семидесяти лет.

– Удивительный, по-видимому, был человек.

– Он был хороший человек, Стефен. Настоящий английский помещик и джентльмен. – Старик вздохнул. – Лучшей надгробной надписи и не придумаешь.

– Да и бабушка тоже, – почтительно вставил Стефен; по пути из Оксфорда, взволнованно раздумывая о своем будущем, пока поезд мчался мимо полей, фруктовых садов и речных излучин, он твердо решил быть безоговорочно покорным сыном. – Она была под стать ему. Моулд немало мне про нее рассказывал.

– Да-а, он был очень предан ей... как и вся ее челядь. Но и пришлось же ему из-за нее попытеть... – От воспоминаний глаза Бертрама потеплели и засветились. – Ты ведь знаешь, что в последние годы жизни старушка страшно располнела. Ей было трудно передвигаться, и ее возили в кресле, а Моулда, который был тогда в учениках у садовника, приставили к ней в качестве тягловой силы. За это ему платили дополнительно шесть пенсов в неделю. Это была

великая честь, но штука весьма утомительная, особенно когда твоя бабушка изъявляла желание отправиться в деревню и надо было вкатить ее на холм Эмбри. Как-то раз летом, когда было очень жарко, Моулд, добравшись до вершины холма, остановился, чтобы вытереть рукавом лицо. Но только он отпустил кресло, как оно покатилося вниз и, набирая скорость, с головокружительной быстротой помчалось под откос. Бедняга буквально оцепенел. Он уже считал себя убийцей своей хозяйки. Вопя от ужаса, кинулся он вниз. А когда добежал до подножия холма... – (скрепя сердце Стефен приготовился рассмеяться: он знал эту историю наизусть), – ...то увидел твою бабушку, которая преспокойно сидела в своем кресле посреди деревенской площади и торговалась с мясником из-за бараньего бока. – Улыбка исчезла с лица Бертрама. – Это была женщина нестигаемой воли. Необычайно добрая. И очень преданная моему отцу. Она умерла ровно через два месяца после него.

Может быть, настоятель в эту минуту подумал о своем собственном браке? Где-то ухала сова. В кладовой, находившейся дальше по коридору, Каролина с излишним грохотом передвигала глиняные кувшины. Бертрам выпрямился и глотнул вина, чувствуя, что надо поскорее прервать молчание, пока оно не стало тягостным. Как странно: он так любит своего сына, а всякий раз, когда они остаются вдвоем, оба испытывают непонятное замешательство. Быть может, это потому, что он слишком любит его? Он никогда не ощущал этой неловкости в присутствии двух других своих детей. Конечно, он любит Каролину, ценит ее преданность и считает дочь «большим подспорьем». Но уродство, которое, по его мнению, обрекало дочь на безбрачие, невольно уязвляло его чувство отцовской гордости. Что же касается Дэвида, его младшего сына, которому было уже почти тринадцать лет, то тут – увы! – любовь отходила на задний план, уступая место горечи, жалости и разочарованию. Подумать только, что один из Десмондов – больше того, его сын – оказался эпилептиком, который даже между приступами остается заикой!

Настоятель подавил вздох. Опасно давать волю чувствам. Но сейчас он не мог избежать этого.

– Приятно, что ты так хорошо окончил Оксфорд. Ты великолепно сдал экзамены.

– Ну, не знаю. Перед выпуском я что-то совсем пал духом.

– У меня тоже было такое чувство, когда я кончал колледж Святой Троицы... хотя мне нравилось учиться не меньше, чем тебе.

Стефен промолчал. Разве мог он сказать отцу, что возненавидел университет, возненавидел за дух чопорности и чванства, за оторванность от насущных проблем, за бесконечные занятия спортом, которые не представляли для него никакого интереса, за это иссушающее душу изучение мертвых языков, вызывающее у него зевоту и побудившее его – из чувства противоречия – совершенствоваться во французском и испанском языках, а главное – разве мог он сказать отцу, как возненавидел избранное для него поприще!

А настоятель тем временем продолжал:

– Ты вполне заслужил отдых. Клэр ждет не дождется тебя, чтобы играть в теннис. А дядя Хьюберт приглашал к себе в Чиллинхем... Правда вкусный был сегодня лосось? Это он прислал... У них там гостит сейчас твой кузен Джоффри – он приехал ненадолго отдохнуть.

Стефен упорно молчал. И впервые Бертраму пришло на ум, что спокойствие сына – чисто внешнее, а под ним таится большое внутреннее напряжение. Щеки его, всегда бледные, были бледнее обычного, а темные глаза казались несоразмерно огромными на узком лице – эти признаки с самого раннего детства указывали, что Стефен испытывает душевную или физическую боль. «Он не из крепких; будем надеяться, что он не болен», – с внезапной тревогой подумал Бертрам и поспешно заботливо сказал:

– Тебе, конечно, надо отдохнуть. До июля можно не думать о практике в Лондоне. Предположим, она займет у тебя пять месяцев, в таком случае твое посвящение в сан придется как раз на Рождество – самое подходящее для этого время.



Стефен стряхнул с себя оцепенение. Как долго он жил в предвидении этой страшной минуты – пытался, по совету своего друга Глина, приблизить ее и потом в волнении отступал; написал добрый десяток писем и порвал – все до одного. И сейчас, когда минута эта все-таки наступила, он почувствовал дурноту и внутри у него все похолодело.

– Отец... я должен с вами поговорить.

– Да? – Настоятель поощрительно кивнул и сложил вместе кончики пальцев.

Молчание. «Очевидно, речь пойдет о деньгах, – снисходительно подумал настоятель. – Какой-нибудь неоплаченный должок по колледжу». Но тут сбивчиво прозвучало:

– Я не хочу принимать сан священника.

Лицо настоятеля даже не дрогнуло – слова сына были столь неожиданны и безгранично удивительны, что черты старика застыли, будто скованные внезапной смертью. Наконец, словно не поняв, он переспросил:

– Ты не хочешь принимать сан священника?

– Я чувствую, что не гожусь для этого... я не умею ладить с людьми... у меня нет организаторского дара... Даже ради спасения собственной жизни я не мог бы произнести приличной проповеди...

– Все это придет со временем. – Бертрам выпрямился и теперь сидел насупившись. – Мои проповеди тоже не отличаются особым блеском. Но этого и не требуется.

– Но, отец, дело не только в этом. Меня не интересует миссия священника. Я... я чувствую, что не способен заменить вас здесь...

Прерывистая речь Стефена навела настоятеля на мысль, что его первоначальные догадки были правильны, и, несколько успокоившись, он сказал примирительно:

– Ты устал и измучился, мой мальчик. Все мы порой падаем духом и разочаровываемся в жизни. Ты почувствуешь себя совсем иначе после нескольких прогулок по окрестностям.

– Нет, отец. – Тяжело дыша, Стефен напряг всю свою волю. – Это у меня уже давно. Не могу я запереться в этой глуши... обречь себя на бессмысленное, жалкое существование.

Что он сказал? В своем отчаянии он употребил явно не те слова. Боль во взгляде отца обожгла его. Минута невыносимо тяжкого молчания. Затем:

– Я не знал, что ты так смотришь на Стилутер. Приход у нас, быть может, и правда маленький. Но наша роль в стране измеряется, пожалуй, не размерами площади, а чем-то другим.

– Вы не поняли меня. Я люблю Стилутер... Здесь мой дом. И я знаю, как глубоко уважают вас на много миль вокруг. Я говорю о другом... и вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, что я считаю своим призванием в жизни.

Настоятель резко откинулся в кресле, затем, словно прозрев, испуганно воззрился на сына.

– Стефен... неужели опять эта дикая идея?

– Да, отец.

И снова звенящая тишина разделила их. Настоятель поднялся с кресла и сначала медленно, затем со все возрастающей стремительностью зашагал по комнате. Наконец усилием воли он взял себя в руки и, подойдя к Стефену, остановился перед ним.

– Милый мой мальчик, – очень серьезно начал он. – Я никогда не пытался воззвать к твоему чувству долга и таким образом привязать тебя к себе. Даже когда ты был совсем маленьким и еще не ходил в школу, я предпочитал воздействовать на тебя с помощью естественных чувств любви и уважения. Однако ты должен понять, сколько надежд я возлагал на то, что ты унаследуешь мое место. Стилутер так много значит для меня... для всех нас. Обстоятельства моей жизни... болезнь твоей матери... злополучное состояние здоровья Дэвида... то, что ты мой старший и – не сердись на меня за это... – тут голос его слегка дрогнул, – глубоко любимый сын... побудили меня связать все мои надежды с тобой. Однако сейчас я оставляю все

это в стороне. Клянусь тебе честью, я думаю прежде всего о тебе, а не о себе, когда говорю – я бы должен сказать: прошу, выбрось из головы твою нелепую мечту. Ты и сам не понимаешь, к чему это тебя приведет. Ты не должен... не можешь пойти по этому пути.

Стефен опустил глаза, чтобы не видеть, как подергивается щека отца.

– Но ведь имею же я право сам устроить свою жизнь. – Сквозь сыновнюю почтительность прорывался скрытый бунт.

– Только не так. Этот путь приведет тебя лишь к гибели. Отказаться от блестящей перспективы, загубить свою карьеру из-за какой-то прихоти – да это же кощунство! И потом, Клэр... где, ради всего святого, ее место в такой жизни? Нет-нет. Ты еще слишком зелен для своих лет, Стефен... Эта безумная идея, которая овладела тобой, кажется тебе сейчас бесконечно важной. Но через несколько лет ты будешь сам над собой смеяться и дивиться, как такое вообще могло прийти тебе в голову.

Глубоко забившись в кресло, раскрасневшийся, не смея поднять глаза, Стефен не мог придумать ни единого слова в ответ – мысли его притупились и стали какими-то ватными после выпитого портвейна. В эту минуту он, без всякого преувеличения, ненавидел отца... и в то же время его терзал стыд за то, что он так ответил на отцовскую привязанность, мучило сознание, что в словах отца была своя правда, и главное – им овладела грусть, теплой волной подымавшаяся откуда-то из глубины души при воспоминании о детстве: о веселых поездках в двуколке, запряженной пони, на вершину Эмбри (отец небрежно опустил поводья, Кэрри сидит в чистеньком белом передничке, а рядом с ней Дэви, впервые надевший короткие штаны из тонкой белой шерсти), о пикниках на Эйвоне (блики жаркого солнца на прохладной воде, и дикая утка вдруг взлетает из желтых камышей, раздвигаемых носом плоскодонки), о пении рождественских гимнов всей семьей вокруг елки, когда окна запорошены снегом... Ох, до чего же нелегко сбросить с себя эти сладостные путы!

Бертрам подошел и не властным, а каким-то трогательно-уважительным жестом положил руку на плечо сына.

– Поверь мне, речь идет о твоём счастье, Стефен. Не можешь ты... не сможешь так ожесточить свое сердце, чтобы пойти против меня.

Стефен не смел поднять глаза, боясь, что не сумеет совладать с собой и расплечется. Он был побежден... во всяком случае, сейчас.

А ведь он собирался бороться, ожесточенно бороться и поклялся Глину, что победит.

– Хорошо, – пробормотал он наконец, испив до конца чашу горечи, какую поражение приносит мягким, но страстным натурам. – Если вы так этого хотите... я попробую поехать в Дом благодати... Посмотрим, что из этого получится.

## Глава III

Бертрам медленно поднимался вверх. Он испытывал огромное облегчение, но не менее огромным было и внезапно возникшее чувство усталости, а также чувство не покидавшей его тревоги. У двери в спальню жены он остановился, склонив голову набок, прислушался, затем легонько постучал и, инстинктивно призвав на помощь все свое мужество, вошел.

Спальня его жены представляла собой большую комнату, которая в прошлом была верхней гостиной; покойный каноник Десмонд считал ее лучшей комнатой в доме, очевидно, из-за правильных пропорций и местоположения, так как окна ее выходили на восток, а потому не только распахивались навстречу утреннему солнцу, но и позволяли любоваться видом на холмы Даунс. Избрав эту комнату в качестве своей спальни и гостиной, жена Бертрама сохранила кое-что из первоначальной обстановки: стулья с мягкими сиденьями, вышитыми крестиком, чиппендейловскую кушетку, большое полукруглое зеркало в гипсовой раме, висевшее над белым мраморным камином, и красный брюссельский ковер. Заслонившись экраном от сквозняка, Джулия Десмонд лежала в постели под атласным одеялом и читала. Это была хорошо сложенная, прекрасно сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с приятным, необычайно беспечным выражением пухлого гладкого лица и густой копной каштановых волос, образовавших на подушке нечто вроде облака.

Отметив бледным ногтем место в книге, на которой был нарисован один из знаков зодиака, Джулия приподняла тонкие брови и обратила на мужа вопрошающий взгляд. Глаза у нее под мясистыми бледными веками были голубые-голубые, точно незабудки, – такие бывают обычно у младенцев.

– Вот Стефен и снова дома, – сказал настоятель.

– Да... Мне показалось, что милый мальчик неплохо выглядит.

Можно было не сомневаться, что она скажет своим томным, аристократическим тоном нечто прямо противоположное мнению мужа.

– Как голова?

– Благодарю, лучше. Я сегодня днем сидела слишком долго на солнце. Это раннее весеннее солнце очень коварно. Но я уже приняла все необходимые меры.

По приспособлению, лежавшему на маленьком столике, он понял, что она только что закончила вибрационный массаж. На выступе камина стоял металлический чайник, из носика которого со свистом вырывалось веселое перышко пара, указывавшее на то, что через четверть часа будет принесен экстракт из отрубей и из него приготовлено снадобье; затем будут раздавлены и проглочены таблетки дрожжей, принята ложка йогурта – или это теперь не йогурт, а сухие морские водоросли? Потом будет заново наполнена горячей водой грелка, подброшены на ночь дрова в камин, притушен свет, намочены кусочки марли и положены на глаза. И снова – хотя, призвав на помощь весь запас христианского долготерпения, он гнал от себя эти мысли – перед ним возник вечный вопрос: зачем он, собственно, женился на ней?

Она была, конечно, красива своеобразной красотой статуэтки – этого нельзя отнять у нее даже сейчас – и, будучи единственной дочерью сэра Генри Марсдена из Хейзелтон-парка, считалась в то время в их графстве «завидной партией». Кто бы мог предположить, глядя на нее, когда она, такая юная, с горделивой осанкой лебедя, принимала, например, гостей в Хейзелтон-парке во время летнего праздника или, улыбающаяся, но сдержанная, окруженная молодыми офицерами из Чарминстерских казарм, вызывала всеобщее восхищение на охотничьем балу, – кто бы мог предположить, что у нее со временем разовьются такие странности или из нее выйдет такая никчемная жена?

Если не считать нескольких летних празднеств, которые они устроили в первые годы своего брака, когда в широкополой шляпе, волоча за собой зонтик в кружевных оборках, она

грациозно бродила по лужайкам, Джулия с непоколебимой решимостью отказывалась что-либо делать для прихожан. Господь Бог, мило заявляла она, создал ее не для того, чтобы носить суп бедным поселянам или растрачивать здоровье, корпя над приданным для младенцев, и тем самым поощрять их появление на свет. К счастью, жена епископа полюбила ее, но с женами духовенства рангом ниже Джулия ни за что не желала общаться. Она предпочитала проводить время у окна или в розарии, где просиживала, разодевшись в пух и прах, за бесконечным вышиванием шелками, то и дело отрываясь от этого занятия и подолгу глядя в пространство, или вдруг, осененная внезапной мыслью, принималась записывать, что надо сказать доктору, к которому, давно разуверившись в местном враче, она ездила два раза в месяц в Лондон. Дети, которых она родила с поразительной легкостью и беспечностью, представляли для нее лишь эпизодический интерес. Она терпела их постольку, поскольку они не вносили неудобств в ее жизнь. Однако ее отрешенность постепенно возрастала, и она все больше замыкалась в себе, в своем особом мире счастливой ипохондрии, сосредоточив все интересы на физических функциях своего организма. И теперь – мог ли он, о боже, предвидеть это, когда в насыщенный ароматом роз день, двадцать лет назад, чуть не умер от блаженства и мучительной сладости ее душистого поцелуя? – теперь ничто в такой мере не интересовало ее, ничто не доставляло ей большего удовольствия, как мило рассуждать с ним о цвете и консистенции своего стула.

Пожалуй, чучело боевого коня (память о Балаклаве), стоявшее в холле ее отца, могло бы послужить предупреждением будущему настоятелю, но – увы! – кто бы мог предсказать, что отец Джулии, который до семидесяти лет был лишь милым чудачком, возившимся в свободное время со всякой механикой (он, например, предпринял электрификацию своего поместья с помощью снабженных парусами ветряных мельниц или занимался таким безобидным делом, как изобретение скорострельного ружья, которое, хоть и не было принято на вооружение военным ведомством, все же поразило в мягкое место их старого и верного дворецкого), кто, спрашивая я вас, мог бы подумать, что этот неугомонный чудак под конец совсем выживет из ума и возьмется за грандиозный проект создания летательного аппарата, причем, заметьте, не простого, на каком впоследствии перелетел через Ла-Манш Блерио (хотя и это уже само по себе было бы великим злом), а сложной конструкции с диковинными винтами, которая якобы могла подняться вертикально в воздух, – словом, вертолета. Таким образом, бросая вызов законам земного притяжения, сэр Генри принялся строить в своем прелестном парке сараи и ангары, выписал из-за границы рабочих, инженеров, бельгийца-механика, стал сорить деньгами направо и налево – короче говоря, довел себя до банкротства и, так и не воспарив над нашей грешной землей, умер всеобщим посмешищем. В результате в Хейзелтон-парке, который мог бы принадлежать Джулии, теперь женская школа, в большом ангаре устроили гимнастический зал, а сараи – свежерыкрашенные страшилища – превратили в склады для грязных хоккейных клюшек и рваной спортивной обуви.

Неужели, в приливе отчаяния подумал Бертрам, эта наследственная неуравновешенность и заговорила сейчас в Стефене? Нет-нет... не может быть. Мальчик слишком похож на него и по складу ума, и внешне – в нем все от отца, это его второе «я». Однако владевшая им тревога и затем эта тягостная догадка побуждали настоятеля, вопреки здравому смыслу, открыть жене душу и искать у нее утешения.

– Знаешь, моя дорогая, – сказал он, – я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы развлечь Стефена и как-то встряхнуть его.

Джулия в изумлении уставилась на мужа. Она обладала удивительной способностью понимать все буквально.

– Мой дорогой Бертрам, ты же прекрасно знаешь, что я не в состоянии делать какие-либо усилия. И потом, почему мы должны встряхивать Стефена?

– Я... я тревожусь за него. Он и всегда-то был необычным ребенком. А сейчас у него такой тяжелый период.



– Тяжелый период, Бертрам? Разве он не вышел из переходного возраста?

– Конечно вышел... Но ты же знаешь, как бывает с молодыми людьми. У них весной появляются такие странные идеи.

– Ты хочешь сказать, что Стефен влюбился?

– Нет... впрочем, конечно, он неравнодушен к Клэр.

– В таком случае что же ты имеешь в виду, Бертрам? Он ведь не болен. Ты сам минуту назад сказал, что он отлично выглядит.

– Не я, а ты это сказала. – В тоне Бертрама невольно проскользнуло раздражение. – По-моему, он вовсе не хорошо выглядит. Но я вижу, ты не склонна разделять мою тревогу.

– Если ты пожелаешь сообщить мне, в чем твоя тревога, мой дорогой, то я с удовольствием выслушаю тебя. Но неужели надо волновать еще и меня – разве не достаточно того, что ты сам волнуешься? По-моему, я выполнила свою роль, произведя детей на свет. Должна тебе сказать, что в этом занятии, от начала и до конца, очень мало приятного. А остальное уж твоя забота. Я никогда не вмешивалась в то, что ты делал. Почему же ты хочешь, чтобы я вмешалась сейчас?

– Ты права. – Он попытался побороть в себе горечь. – Тебе, конечно, будет глубоко безразлично, если Стефен погубит свою жизнь. Послушай, Джулия, в нем есть что-то, чего я не могу понять и что он скрывает глубоко в душе. О чем он на самом деле думает? Кто его друзья? Помнишь, когда Джозфри был у него в прошлом году в колледже Святой Троицы, он встретил у нашего мальчика совершенно немыслимого человека... какого-то проходимца, как назвал его Джозфри... нищего художника... валлийца...

Он умолк, чуть ли не с мольбою глядя на жену, так что она вынуждена была в конце концов откликнуться.

– А что ты имеешь против валлийцев, Бертрам? – мягко спросила она. – У них такие красивые голоса. Этот валлиец пел?

– Нет, – вспыхнув, ответил Бертрам. – Он все время уговаривал Стефена поехать в Париж.

– Молодые люди и раньше туда ездили, Бертрам.

– Согласен. Но на сей раз поездка затевалась не в обычных целях.

– А в каких же? Ради чего же еще туда ехать, если не ради француженок?

– Чтобы заниматься живописью!

Наконец он произнес это слово, он заставил себя его произнести и теперь напряженно, но не без чувства облегчения ждал, что она скажет.

– Должна признаться, Бертрам, я не вижу в этом особой беды. Помнится, когда мы ездили с папой в Интерлакен, я писала на озере прелестные маленькие акварели. В голубых тонах. А Стефен всегда любил рисовать. Ты же сам первый подарил ему краски.

Он больно прикусил губу.

– Но теперь это не детские забавы, Джулия. Знаешь ли ты, что он уже целый год, не говоря нам ни слова, ездил из Оксфорда в Слейд и там занимался живописью в вечерних классах?

– Слейд – вполне приличное заведение. У Стефена будет бездна свободного времени в промежутке между его проповедями, и он вполне сможет рисовать. А живопись так успокаивает нервы.

Бертрам еле удержался, чтобы не прикрикнуть на нее. С минуту он сидел потупившись, затем, учащенно дыша, но тоном человека, одержавшего верх в споре, сказал:

– Надеюсь, ты права, дорогая. Я, наверно, зря волнуюсь. Конечно, он образумится, когда приедет в Лондон и с головой окунется в работу.

– Конечно. И знаешь, Бертрам, я решила в будущем месяце ехать не в Харрогейт, а в Чэлтенхем. В тамошних водах есть минеральные соли, которые, говорят, очень способствуют

выделению желчи. А когда доктор Леонард в последний раз делал анализ моей мочи, он обнаружил большой недостаток солей.

Еле слышно Бертрам поспешил пожелать жене доброй ночи, пока с языка не сорвалось что-нибудь лишнее.

Когда он вышел из комнаты, до слуха его донеслось неторопливое постукивание машинки – это Каролина неумоимо печатала тезисы его завтрашней проповеди.

## Глава IV

Серым дождливым днем полтора месяца спустя, закончив обход прихожан, Стефен медленно брел по Клинкер-стрит в Восточном Степни. От едкого сернистого дыма, который тянулся из лондонских доков, узкая улица казалась еще более скучной, а воздух – таким тяжелым, что трудно было дышать. Ни света, ни ярких красок – лишь унылый ряд пустых телег, грязная мостовая, ломовая лошадь пивовара плетется под дождем в облачке пара от собственного дыхания, возница согнулся под куском дерюги, с которой стекает вода. Мимо промчался автобус, идущий в западные районы столицы, и, когда Стефен уже сворачивал к Дому благодати, обдал его грязью.

Здание из красного кирпича, к которому он направлялся, стоявшее в ряду других домов с осыпающейся штукатуркой, покосившихся и осевших, точно древние старики, сейчас больше, чем когда-либо, показалось Стефену похожим на маленькую, но весьма совершенную тюрьму. В эту минуту входная дверь широко распахнулась и на пороге появился отец-наставник, достопочтенный Криспин Блисс – высокий, тощий, облаченный в длинный, до пят, черный макинтош. Он держал в руках сложенный зонт и, поворачивая в разные стороны нос, как бы принюхивался, определяя погоду. Стефен понял, что встреча неизбежна, и взошел на крыльцо.

– А, Десмонд... Уже вернулись?

Тон был не очень дружелюбный, Стефен чувствовал, что человек этот старается относиться к нему с приязнью, но, несмотря на все свои добрые намерения и требования братской любви, не может пересилить себя. Достопочтенный Криспин Блисс, брат из монастыря Святого Кузберга, был ряным священнослужителем, который в поте лица своего трудился на благо ближних, возделывая сей неблагодарный виноградник. Приверженец евангелистского направления в англиканской церкви, он принадлежал к числу людей, искренне верующих и довольно узколобых. Если же говорить о его человеческих качествах, то они оставляли желать лучшего: Блисс был сух, педантичен, обидчив и одержим манией величия. Неблагоприятное впечатление производила и его манера ходить, высоко поднимая голову, его чванство, а главное – голос: надтреснутый, слегка гнусавый, словно специально созданный, чтобы елейно возражать собеседнику. Стефен, на беду свою, чуть ли не с первых дней появления в этом заведении умудрился оскорбить сию особу.

В верхнем коридоре Дома благодати в толстой золоченой раме висела мрачная картина, изображающая мучения святого Себастьяна, которая Стефену, когда он выходил из своей комнаты, казалась как бы залитой свежей кровью. Поскольку на это полотно, по-видимому, никто, кроме него, не обращал внимания, однажды утром в порыве отвращения он повернул картину лицом к стене. Судя до всему, это прошло незамеченным. Но в тот же вечер, за ужином, сокрушенный взор святого отца, скользнув поверх голов викариев, Лофтуса и Джера, остановился на Стефене, и достопочтенный Блисс своим самым гнусавым голосом заметил:

– Я не против юмора даже в его наиболее неприглядной форме – форме грубой шутки. Но если объектом избирается предмет, который находится в этом доме и по своему назначению или по вызываемой им ассоциации может считаться священным, – это, по-моему, неслыханное богохульство.

Стефен вспыхнул до корней волос и сидел, не поднимая глаз от тарелки. У него не было никаких дурных намерений, и по окончании ужина, движимый желанием объяснить свой поступок, он подошел к святому отцу.

– Я должен попросить у вас прощения: это я перевернул картину. Я поступил так исключительно потому, что она действует мне на нервы.

– Действует вам на нервы, Десмонд?

– Видите ли... да, сэр. Она так ужасающе безвкусна и фальшива.

С лица отца-наставника исчезло недоумение, и выражение его стало жестким.

– Я отказываюсь понимать вас, Десмонд. Это же подлинник Карло Дольчи.

Стефен снисходительно усмехнулся:

– Едва ли, сэр. Если бы еще это был Дольчи! А то смотрите, какой грубый мазок, и колорит совсем современный, а главное – картина написана на белом льняном полотне, которое стали вырабатывать лишь около тысяча восемьсот девяностого года, то есть через добрых двести лет после смерти Дольчи.

Лицо отца-наставника стало каменным. Он учащенно засопел, и хотя из ноздрей его не вырывалось пламени, они раздулись от христианской разновидности гнева, именуемой праведным возмущением.

– Картина принадлежит мне, Десмонд, и это мое самое ценное достояние. Я купил ее в молодости, когда был в Италии, у человека безупречной честности. А потому, каково бы ни было ваше мнение, я по-прежнему буду ценить ее как подлинное произведение искусства.

Однако сейчас во взгляде отца-наставника чувствовалась не столько враждебность, сколько настороженное недоверие; он предложил Стефену укрыться под его зонтом, так как шел дождь, и спросил:

– Вы сегодня обошли весь Скиннерс-роу?

– Почти весь, сэр.

Стефену не хотелось признаваться, что он торопился, боясь опоздать к приходу Ричарда Глина, и потому не стал заглядывать в дома с нечетными номерами.

– Как вы нашли нашу старушку, миссис Блайми?

– К сожалению, не в очень хорошем состоянии.

– Что, бронхит замучил? – И, поскольку Стефен смущенно мялся, отец-наставник добавил: – Надо вызвать доктора?

– Нет... не в этом дело. Видите ли, когда я зашел к ней, она была совсем пьяной.

Последовало огорченное молчание, затем довольно мирской вопрос:

– Откуда же она взяла деньги?

– Очевидно, я в этом виноват. Я дал ей вчера пять шиллингов, чтобы она заплатила за комнату. А она, должно быть, истратила их на джин.

Отец-наставник прищелкнул языком.

– М-да... живите и учитесь, Десмонд. Я вас не упрекаю, но не надо ввергать в соблазн бедных рабов Божьих.

– Очевидно, не надо. С другой стороны, разве можно ее винить за то, что она хоть ненадолго хочет забыть о своей горькой доле? Она швея, у нее слабые легкие, а потому никто не дает ей работы, она задолжала хозяину за квартиру и уже заложила все, что у нее было, так что в комнате почти ничего не осталось. Должен признаться, я чуть ли не обрадовался, когда увидел, что она катается по кровати в счастливом забытии.

– Десмонд!

– Больше того... я невольно подумал, что, очутись кто-нибудь из нас в подобном положении, он, наверно, вел бы себя так же.

– Ну-ну! Это уж вы слишком. Надеюсь, с нами – хвала Господу! – никогда не приключится такой напасти. – Он неодобрительно покачал головой и приподнял зонт. – У вас сегодня вечером занятия в юношеском клубе? Я хочу поговорить с вами об этом за ужином.

Он несколько церемонно кивнул на прощание и стал спускаться с крыльца, а Стефен направился вверх, к себе в комнатку – крошечную клетушку с мебелью из светлого дуба, с готическим резным камином и вращающейся этажеркой для книг. Постель была не убрана. Предполагалось, что обитатели Дома благодати должны все делать сами: так, например, по утрам Стефен неизменно встречал викария Джира, жизнерадостного мускулистого слугу Христов, который, нимало не смущаясь, весело направлялся в уборную с полным ночным горшком.



ком. Однако, чтобы эта монастырская традиция не казалась будущим священникам слишком суровой, во второй половине дня в доме появлялась маленькая горничная по имени Дженни Дилл, в обязанности которой якобы входило навести в доме глянец, тогда как на самом деле ей приходилось выполнять всю черную работу. И сейчас, бросившись прямо в пальто и шляпе в кресло, Стефен услышал ее легкие шаги в комнате Лофтуса, отделенной от его клетушки лишь тоненькой перегородкой. Лофтус, красивый малый, педантичный и замкнутый, чрезвычайно элегантный – в пределах, разрешенных священнику, – всегда оставлял Дженни уйму дел: тут и обувь надо было привести в порядок, и платье вычистить, и убрать. Однако она, по-видимому, уже справилась со всем этим, так как через несколько минут раздался стук в дверь и девушка проворно вошла в комнату Стефена с метелочкой для обмахивания пыли и ведром в руках.

– Ах, сэр, вы уж меня извините... я ведь и не знала, что вы тут.

– Ничего, ничего, ты мне не помешаешь.

Он рассеянно следил за тем, как она ловко перестилала простыни и взбивала перину. Это была приятная девушка, с такими румяными щеками, что, казалось, они у нее натерты кирпичом, живыми карими глазами, над которыми нависала черная челка. Типичная обитательница восточной части Лондона, подумал он. Мастерница на все руки и отнюдь не глупа. При этом заурядной ее тоже нельзя назвать: в ней какая-то милая услужливость, наивность, участливое дружелюбие и, главное, необычайная жизненная сила, – казалось, она просто не в состоянии сдерживать радость и энергию, бывшие ключом в ее молодом здоровом теле. Стефен смотрел на ловкие движения этой девушки с тонкой талией и небольшой крепкой грудью – она не замечала его пристального взгляда, а если и замечала, то не подавала виду, – и рука его инстинктивно потянулась к столу, где лежали альбом и карандаш. Пристроив альбом на колени, он принялся набрасывать портрет Дженни.

Вот она подошла к камину, нагнулась и начала выгребать золу. Эта поза понравилась Стефену, и, когда девушка стала распрямляться, он резко остановил ее:

– Пожалуйста, не шевелись, Дженни!

– Но, сэр...

– Нет-нет. Поверни опять голову и не двигайся.

Она покорно склонилась, приняв прежнюю позу, и карандаш Стефена лихорадочно заметался по бумаге.

– Ты, наверно, считаешь, что я ненормальный, правда, Дженни? Во всяком случае, все здесь считают меня таким.

– Ах, что вы, нет, сэр, – решительно запротестовала она. – Вы, конечно, кажетесь нам немножко странным: подумать только, учите парней в клубе рисованию и всякому такому, не то что другие священники – те ведь только и знают что бокс. Вот когда мистер Джир занимался с ними, они все чуть не поубивали друг дружку. Их и узнать-то нельзя было: у того глаз подбит, у того нос расквашен. А сейчас ничего похожего и в помине нет. Так что все мы считаем вас очень замечательным джентльменом.

– Это весьма лестно... и оказывается, такое мнение можно заслужить без всякого кровопролития. Скажи, Дженни, вот если бы ты была старой, прикованной к постели женщиной, что бы ты предпочла – Библию или бутылку джина?

– У меня есть Библия, сэр... даже целых две. От мистера Лофтуса и мистера Джера. Мистер Лофтус подарил даже с красивыми цветными закладками.

– Не увличай, Дженни. Говори правду.

– Видите ли, сэр, все зависит от того, насколько бы мне было худо. И если б мне было уж очень худо, то джин, пожалуй, больше бы пригодился.

– Молодец, Дженни. Честна и бесхитростна! Ну а что ты скажешь об этом?

Она медленно распрямила затекшую спину, подошла к нему и недоверчиво посмотрела на протянутый ей рисунок.

– Я ведь ничего не понимаю в таких вещах, сэр... но, по-моему, работа искусная...

– Господи, глупышка, да неужели ты не видишь, что это ты?

– Вот теперь, когда вы сказали, сэр, – скромно заметила она, – я и впрямь вижу, будто это я... со спины. Только жаль, что на мне старый передник, ведь он рваный – вон какая большая прореха у кармана...

Стефен рассмеялся и бросил альбом на стол.

– Твой старый передник мне как раз и понравился. И прореха тоже. Ты отличная натурщица, Дженни. Как бы хотелось, чтобы ты позировала для меня. Я бы платил тебе по пять шиллингов в час.

Она быстро вскинула на него глаза и тут же отвела их.

– А ведь это было бы нехорошо, правда, сэр?

– Какая ерунда, – поспешно возразил он. – Что же тут плохого? Просто тебя это, видимо, не интересует.

– Видите ли, сэр, – начала она, запинаясь, и румянец на ее щеках запылал еще ярче, – сказать по чести, если тут ничего нет плохого, то мне бы сейчас вовсе не помешали эти деньги.

– В самом деле?

– Да, сэр. Понимаете... Я вскорости собираюсь замуж.

Вопросительное выражение на лице Стефена сменилось озорной, мальчишеской улыбкой.

– Прими мои поздравления. Кто же этот счастливец?

– Зовут его Алфред, сэр. Алфред Бейнс. Он работает стюардом на пароходе Восточной линии. Он вернется домой через месяц с лишком.

– Очень рад за тебя, Дженни. Теперь мне понятно, зачем тебе понадобились деньги. Ну, давай условимся. Когда ты кончаешь работу?

– Вот уберу, сэр, вашу комнату – и все. Обычно часов около пяти.

– Ну что ж... Предположим, ты будешь задерживаться два раза в неделю на час – с пяти до шести. Я могу платить тебе по пять шиллингов за сеанс.

– Это уж больно щедро, сэр.

– Что ты, это совсем немного. И если работа не покажется тебе чересчур утомительной, я могу дать тебе записку к одному моему приятелю, который преподает по вечерам живопись в Слейде. Он с удовольствием наймет тебя ненадолго.

– А он не потребует, сэр... – И лицо Дженни залилось пунцовой краской.

– Ну что ты, конечно нет, – мягко сказал Стефен. – Ты будешь позировать в каком-нибудь костюме. По всей вероятности, ты понадобишься ему для поясного портрета.

– В таком случае я буду вам очень благодарна, сэр... право же... Особенно потому, что это вы...

– Значит, договорились, да? – Он улыбнулся, что случилось с ним не так уж часто и очень ему шло, и протянул Дженни руку.

Она приблизилась к нему. Щеки ее по-прежнему пылали, маленькие пальцы с поломанными, неровно остриженными ногтями были сухие и теплые; на загрубевшей от работы коже ощущались следы порезов и мозолей. Однако эту маленькую руку так приятно было держать, в ней чувствовалось биение молодой жизни, и Стефен с трудом заставил себя выпустить ее. Поняв, что он ее больше не удерживает, Дженни тотчас направилась к двери. Неожиданно поблдевав, не глядя на него, она сказала:

– Вы всегда так добры ко мне, мистер Десмонд, что я с радостью для вас все сделаю. Я всегда стараюсь получше прибрать в вашей комнате. И особенно слежу за вашими ботинками, потому что... ну просто потому, что они ваши, сэр. – И, произнеся это, она поспешно вышла.

Для человека, страдающего от самоуничтожения, в этих словах была заключена особая теплота. Но радость вскоре потухла – Стефен вновь вернулся к реальной действительности,

вспомнил, где он находится и какая унылая жизнь ждет его впереди. И ему мучительно захотелось поскорее увидеть Глина.

Он взял «Откровения» Пейли, которые обещал отцу прочесть, и попытался сосредоточиться. Но все было тщетно. Книга не интересовала его. Он ненавидел жизнь, которую вел с тех пор, как поселился в Доме благодати (обходы прихожан, занятия по изучению Библии, клуб), хоть и старался внести во все, что делал, какую-то свою, живую струю, ненавидел вечное лицемерие тепло одетых и сытых святых отцов (к которым принадлежал и сам), стремящихся баснями накормить сырых и голодных.

Он мог понять, что можно посвятить себя церкви из привитой с детства глубокой религиозности, можно пойти по этому пути, видя высокое призвание в том, чтобы наставлять своих собратьев на путь истинный. Но устроить себе легкую жизнь без такого призвания, по соображениям сугубо материальным казалось Стефену величайшим мошенничеством. К тому же разве у него не было собственного призвания, разве некий голос не звучал со все возрастающей настойчивостью в его душе? Каким же он был идиотом, что позволил завлечь себя на эту стезю, точно глупая овца, попавшая в загон на ярмарке! А теперь, раз уж он сюда попал, пути назад, казалось, были для него отрезаны.

Ход его размышлений прервал быстрый стук тяжелых сапог по деревянной лестнице – через несколько секунд в комнату влетел молодой человек немного старше Стефена и, с трудом переводя дух, упал на стул. Он был выше среднего роста, широкоплечий, с коротко остриженными рыжими волосами и небольшой, торчащей во все стороны рыжей бородой; на его волевом лице с густыми бровями блестели пронзительные, даже, пожалуй, колючие глаза, которые сейчас искрились смехом. В своих молескиновых штанах и рабочем свитере, с красным платком в горшечек, повязанным вокруг шеи, он походил на настоящего корсара, неистового, неудержимого, наслаждающегося всем, что дает ему жизнь. Немного отдышавшись, он вытащил из кармана никелированные часы, пристегнутые к поясу обрывком потертого зеленого шнура.

– Меньше часа, – с удовлетворением объявил он. – Недурно, если учесть, что старт был дан в Уайтхолле.

Стефен слегка удивился, хоть и знал о любви Глина к спорту.

– Ты всю дорогу проделал пешком!

– Бегом, – поправил его Глин, вытирая пот. – Ну и весело же было! Я всех фараонов поднял на ноги: они, видимо, решили, что я ограбил банк. Зато пить сейчас чертовски хочется! В этом твоём Божьем доме едва ли, конечно, найдется капля пива?

– Увы, нет, Ричард. Нам не разрешают держать пиво в комнатах. Я могу предложить тебе чаю... с печеньем.

Глин так и покатился со смеху.

– Эх вы, юные богословы! Да как же вы можете бороться с сатаной, сидя на одном чае да на печенье? Но если тебя это не затруднит, принеси хотя бы чаю. – И уже совсем другим, более серьезным тоном добавил: – К сожалению, я не могу пробыть у тебя долго, а повидать тебя мне хотелось.

Они болтали, дожидаясь, пока вскипит чайник, который Стефен поставил на газовую плитку у камина. Когда чай был заварен, Ричард выпил целых четыре чашки этого презренного напитка и с рассеянным видом прикончил тарелку макарон. Тут в разговоре наступила неловкая пауза.

– Твоя выставка прошла очень неплохо, – сказал наконец Стефен.

– Вполне сносно, – небрежно отозвался Глин. – Рецензенты были настолько кровожадны, что, можно сказать, сами пригнали ко мне публику.

– Но ты все-таки продал кое-что.

– Одно дурацкое полотно. И то лишь потому, что я валлиец. Его купила Кардиффская национальная галерея. Поощрение национального таланта... сын рудокопа и тому подобное.

Друзья снова помолчали.

– Как бы то ни было, – продолжал Глин, – эти денежки помогли мне выкарабкаться из долгов. Мы с Анной уезжаем завтра в Париж.

Стефен весь внутренне напрягся: это была не только реакция нервов на название города, которым он бредил, – он почувствовал, что этой как бы вскользь брошенной фразой объясняется цель прихода Глина. И, стараясь говорить спокойно, он спросил:

– Сколько же ты намерен там пробыть?

– Не меньше года. Я буду жить экономно и работать как черт. Можешь мне поверить, Париж – замечательное место для работы. – Он помолчал и бросил на приятеля быстрый испытующий взгляд. – А ты с нами не поедешь?

У Стефена сдавило горло. Костяшки пальцев, сжимавших ручки кресла, побелели.

– Как же я могу поехать? – пробормотал он. – Ты знаешь мое положение.

– А мне казалось, что ты хочешь заниматься живописью.

Стефен сидел потупившись и молчал. Внезапно он поднял голову.

– Глин... Если я все брошу... добьюсь я успеха на этом поприще?

– Господи боже мой, Десмонд! – Глин нагнулся к нему, сдвинув брови. – Что за дурацкий вопрос? Что значит: добьешься ли ты успеха? И что такое вообще успех? Разве ты не знаешь, что в этом деле не может быть никаких гарантий, все будет зависеть только от тебя самого! И берется человек за такое потому, что, черт возьми, не может поступить иначе. Если он решил заняться этим всерьез, то он бросает все, голодает, крадет, обманывает свою бабушку, нарушает все десять заповедей – лишь бы держать в руках шпатель и палитру с красками. – Глин помолчал, откинулся на спинку кресла и уже спокойнее продолжал: – Я считаю, что у тебя необычайные способности, талант, иначе я не стал бы ломать из-за тебя голову. Я знаю, насколько это трудно для такого, как ты, – по уши погрязшего в традициях. Не там ты родился. Тебе надо было бы начинать жизнь, как я, – в шахтерском поселке, на угольных копях. Во всяком случае, решай сам. На худой конец, из тебя выйдет более или менее сносный священник. – Резким жестом он извлек из кармашка никелированные часы. – Ну, мне пора. Еще надо уложить вещи. И вообще много всякой канители. Прощай, Десмонд. Пиши мне, когда будет время.

Стефен сидел все так же неподвижно. Глин встал; подойдя к приятелю, чтобы проститься, он заметил на каминной доске полосатый кусочек картона с оторванным талоном, выкрашенный в цвета Мэрилбонского крикетного клуба. Это был приглашенный билет на крикетный матч между Оксфордом и Кембриджем, который должен был состояться в будущем месяце. Проследив за взглядом Ричарда, Стефен покраснел.

– Я не могу не пойти, – лаконично объяснил он. – Все наше семейство там будет.

Глин с грустным видом пожал плечами, потряс руку Стефена и вышел.



## Глава V

Матч окончился, ворота были выдернуты из земли, и заходящее солнце отбрасывало длинные тени на зеленую лужайку, где вместе с нарядной публикой (здесь едва ли применимо слово «толпа»!), медленно направлявшейся к главному выходу из Сент-Джонского леса, двигалась компания в семь человек. Каролина и Клэр шли впереди с Дэви и его двоюродным братом Джоффри, а в нескольких шагах от них шел Стефен с генералом Десмондом и его женой. Срочные дела по приходу в последнюю минуту помешали настоятелю присутствовать на матче, а Джулия вообще годами не появлялась на таких сборищах. Стефен поехал только для того, чтобы побыть с братом, и, хотя удовольствие, которое получал Дэви от игры (тем более трогательное, что сам он не мог в ней участвовать из-за болезни), в известной мере вознаградило Стефена за скуку, день этот оказался для него сущим испытанием: в ушах у него звенело от нескончаемых криков Джоффри: «Здорово сыграно, сэр!», а смесь высокомерного снисхождения и наглости, с какою супруга генерала относилась ко всем своим родственникам – Стефен редко даже в мыслях именовал ее тетей Аделаидой, – по обыкновению, пробудила в нем самые дикие, неприглядные чувства. Холодная, властная женщина с узким лицом, воспитанная в атмосфере суровой гарнизонной дисциплины, прокаленная солнцем Индии, она все еще отличалась жестокой, самоуверенной красотой; у нее по-прежнему была великолепная фигура, хоть и чересчур худощавая, а взгляд порою пронзал, как удар штыка.

Выйдя за пределы поля, они остановились в нерешительности, глядя на отъезжавшие непрерывной чередой экипажи и пролетки, и супруга генерала застрекотала, проглатывая – на манер сельской жительницы – окончания слов:

– Сегодня был такой восхитительный день, просто жаль рано расходиться. – Она повернулась к мужу: – Не предложишь ли ты чего-нибудь, Хьюберт?

Генерал Десмонд окинул взглядом компанию. Высокий, прямой, как шомпол, с правильными чертами лица, он даже в сером цилиндре и сюртуке походил на вояку, и притом отменного. Коротко стриженные усы как бы подчеркивали отрывистость его рубленой речи.

– Я полагаю, мы можем поужинать вместе у Фраскати.

– Вот это мило, предок, – сказал Джоффри, в двухсотый раз поправляя галстук и одергивая вышитый жилет, словно желая непременно привлечь внимание к искусству своего портного, благодаря чьим стараниям он стал – тут уж сомневаться не приходилось – предметом всеобщего восхищения. Следование моде (Джоффри именовал это «хорошим стилем») составляло главный предмет его забот, готовился ли он к появлению на плацу или на Пикадилли; короче говоря, это был весьма элегантный, хоть и довольно пустой двадцатичетырехлетний хлыщ.

– Дэви надо быть дома к семи часам, – возразила Каролина. – А сейчас уже больше шести. Но пожалуйста, не меняйте из-за нас своих намерений, я отвезу его на поезде.

– Душенька, вы такая милая, всегда готовы сделать людям приятное, – улыбнулась Аделаида. Ей вовсе не хотелось показываться с Каролиной у Фраскати: лицо у девушки под воздействием солнца стало багрово-красным, а ужасное коричневое платье делало ее похожей на горничную, вырядившуюся ради воскресного дня; и потом, эти ноги – настоящее несчастье, точно ножки от рояля! Словом, для тети Аделаиды Каролина была сущим наказанием во время всяких светских увеселений, а особенно на ежегодном охотничьем балу, когда она весь вечер напролет просиживала у двери, никому не нужная, вертя в руках незаполненную программку и с обреченным видом дожидаясь, когда к ней подведут какого-нибудь старичка. А сегодня и вовсе пришлось быть с этой Каролиной весь день. – Мы возьмем вас с собой как-нибудь в другой раз.

– К сожалению, мне тоже надо ехать, – сказал Стефен. Если Дэви не идет, то и ему оставаться незачем.

– В самом деле? – Хьюберт снисходительно приподнял бровь: он, пожалуй, даже любил этого своего племянника, будущего пастора, во всяком случае, вполне терпимо относился к нему. – Так рано?

– Неужели вы не можете еще побыть с нами, Стефен? – Клэр подошла к нему; в тоне ее, несмотря на сдержанность, звучала мольба. Ее нежное, утонченное лицо затеняла широкополая шляпа, украшенная розами. Сегодня, среди этой толпы, она казалась особенно привлекательной – прелестная английская девушка, рассудительная, хорошо воспитанная, с открытым лицом и приятной манерой держаться, она всюду неизбежно завоевывала себе друзей.

– Останьтесь, – добавила она.

– Дорогая моя, – вмешалась Аделаида, прежде чем Стефен успел вымолвить хоть слово, – нельзя нарушать правила и порядок. Ведь Стефен, насколько я понимаю, ведет в Доме благодати более или менее монастырский образ жизни – не так ли? – и притом, конечно, весьма достойный. Очень жаль, что он не может пойти с нами. Придется нам попировать вчетвером. Джофри будет ухаживать за Клэр, а я уж, так и быть, потерплю Хьюберта. – Аделаида снова улыбнулась, на сей раз с довольным видом: у нее были свои причины не желать, чтобы Стефен ехал с ними.

– Может быть, подвезти тебя, Каролина? – предложил Хьюберт.

– О нет, мы с Дэви поедem на метро.

– А я на автобусе, – сказал Стефен.

Все распрощались, и Стефен, смутно чувствуя, что его уход огорчил Клэр, пошел с Каролиной и Дэви. Поскольку до отхода поезда в Стилутер еще оставалось достаточно времени, он повел их в кондитерскую Фуллера на Парк-роуд, где угостил своего младшего брата земляничным мороженым, а Каролину – чашкой чая. Высвободив незаметно ноги из ботинок, она призналась, что весь день до смерти хотела пить. Стефен проводил их до станции метрополитена на Бейкер-стрит, а сам сел в автобус № 23, направлявшийся в восточную часть Лондона.

Трясаясь в автобусе, Стефен испытывал облегчение оттого, что вокруг него снова простой люд, разместившийся без претензий на жестких сиденьях, и в то же время им владело глубочайшее уныние. Каким физическим и умственно неполноценным, каким отличным от других казался он себе все время, пока они расхаживали вокруг крикетной площадки, встречали знакомых и обменивались с ними приветствиями, завтракали под тентом Гвардейского клуба! «Станный тип», – казалось, читал он в равнодушных взглядах, какими окидывали его приятели Джофри, обсуждая новую музыкальную комедию, охоту в Западном Сассексе и последнее увлечение кембриджской командой. В таком настроении Стефен прибыл в Дом благодати. В холле, где все еще пахло вареным мясом и капустой, которые подавались ко второму завтраку, он столкнулся с Лофтусом, направляющимся к выходу, и поздоровался. Викарий едва кивнул в ответ и скромно проскользнул мимо, но во взгляде элегантного молодого человека Стефен заметил такое ликование и злорадство, что невольно остановился:

– В чем дело, Лофтус?

Тот уже был в дверях и, обернувшись, посмотрел на Стефена через плечо с еле уловимой елейной улыбочкой.

– Как будто вы не знаете!

– Конечно не знаю. Что случилось?

– Да ничего особенного, очевидно. Если не считать того, что крошка Дилл, кажется, немного набедокурила.

«На что он намекает?» – подумал Стефен. Но тут же выбросил эту мысль из головы и, посмотрев, нет ли для него писем, пошел к себе наверх. А там на жестком стуле, стоявшем посреди комнаты, в своем парадном платье, соломенной шляпке с узенькой ленточкой и в белых нитяных перчатках сидела Дженни.

При его появлении она тотчас, но без особой торопливости поднялась и в ответ на его изумленный взгляд, ибо она обычно не появлялась в Доме по субботам, сказала:

– Вы уж извините меня за вольность, сэр. Но очень нужно мне было вас видеть. А больше мне вроде бы и негде ждать вас.

– Ничего, ничего, – неуверенно заметил Стефен. – Садись же. Вот так. В чем дело?

Он направился к камину, а она снова присела на краешек стула, церемонно сложив на коленях руки в перчатках.

– Видите ли, сэр, я сегодня ухожу отсюда. Получилось это, прямо сказать, неожиданно-негаданно. А вы были так добры ко мне, что как же я уйду и не попрощаюсь с вами.

– Мне очень жаль, Дженни. Я не думал, что ты так скоро покинешь нас.

– Да и я тоже не думала, сэр. Только, видите ли, они все узнали.

– Узнали? – ничего не понимая, переспросил он.

– Да, сэр. – Она деловито кивнула и откровенно, без всякого смущения пояснила: – Я сама во всем виновата, надо же быть такой дурочкой: пришла вчера без корсета. Я ведь и не думала, что уже заметно. Но нашу повариху не проведешь. Она сразу помчалась к отцу-наставнику.

– Ничего не понимаю... О чем ты говоришь?

– Да неужели вам не понятно, сэр: у меня будет ребенок!

Стефен до того растерялся, что не мог слова вымолвить. Наконец, чувствуя, что положение обязывает его сделать внушение, он, заикаясь, пробормотал:

– Боже мой, Дженни... да как же ты могла?

– Должно быть, я тогда голову потеряла, сэр.

– Что?!

– Да ведь люди-то не деревяшки, сэр. От этого никуда не уйдешь. О, со мной-то все в порядке, можете не сомневаться. Алф – парень верный. Я ведь говорила вам, что он служит на корабле стюардом и мы поженимся, когда он вернется.

Оба немного помолчали; Стефен с возрастающей симпатией смотрел на Дженни.

– Ты, как видно, любишь его.

– Да, как видно, сэр. – Лукавая улыбка на миг озарила ее молодое, свежее личико. – Он куда старше меня, конечно. И должна признаться, если бы не те две кружки пива, что я выпила тогда в «Благих намерениях», я бы ни за что не сдалась. Но конечно, я могла бы нарваться на парня куда хуже. Алф-то все-таки порядочный. И образованный. Он любит музыку и сам научился играть на губной гармонике.

Новая пауза.

– Что ж... нам будет очень недоставать тебя, Дженни.

– Мне тоже будет недоставать вас, сэр. Должна сказать, уж очень вы были ко мне добры. Не то что другие.

– Кто же это?

– Ну, перво-наперво – отец-наставник, сэр. Должна сказать, уж и задал же он мне трепку перед тем, как уволить.

– Значит, ты уходишь не по своему желанию?

– Ах что вы, сэр. Мне это совсем ни к чему...

Я ведь себя кормлю, родителей моих давно нет на свете. Но отец-наставник сказал, что нельзя такую заразу держать в доме, когда тут живут трое молодых мужчин, и прогнал меня.

Стефен прикусил губу. Поглядывая исподтишка на девушку, он заметил, что, несмотря на обычное спокойствие и добродушие, она выглядит бледной и расстроенной. Он мог бы поклясться, что в ней нет ни капли испорченности.

– Дженни, – поддавшись внезапному порыву, сказал он, – я, конечно, не хочу вмешиваться в распоряжения отца-наставника. Но надеюсь, ты приняла все необходимые меры... позаботилась о больнице и прочих вещах.

– Я не пойду в больницу, сэр. У меня есть своя комната. И я договорюсь с миссис Кетл. Она повитуха, сэр, и, говорят, очень ловкая.

– Ты уверена, что все будет в порядке?

– О, можете обо мне не беспокоиться, сэр. – Впервые в ее голосе прозвучала нотка огорчения. – Только бы я вам не причинила никаких неприятностей. Ведь все открылось и насчет той работы в школе рисования, что вы мне устроили. И отец-наставник, по-моему, очень разгневался.

Это сообщение несколько расстроило Стефена. Однако ему было сейчас не до себя – его искренне тревожила судьба Дженни, он восхищался ее мужеством и здравомыслием и возмущался тем, как с нею обошлись. За последние месяцы он очень привязался к ней, и сейчас ему хотелось чем-то проявить свое доброе к ней отношение. Он отвернулся, застенчиво порылся в бумажнике и подошел к девушке.

– Видишь ли, Дженни... Я вовсе не хочу обидеть тебя, но ты так много для меня здесь делала... и потом, сейчас, в твоём положении, это тебе очень пригодится. Я хочу, чтобы ты приняла это от меня.

Он неловко сунул ей в руку пятифунтовую бумажку, которую сложил вчетверо, чтобы не так было заметно, какая это крупная купюра. Но к его изумлению, она стремительно вскочила и попятилась, не желая брать деньги.

– Нет... Я ни за что не возьму.

– Но, Дженни... ты должна...

Дженни была не из плаксивых, однако сейчас, после того, что ей пришлось вынести за этот день, горячие слезы брызнули из ее глаз.

– Нет, сэр, я не могу... я же ничего для вас и не делала...

В эту минуту – она все пятилась, а он наступал на нее, протягивая деньги, – дверь открылась и вошел отец-наставник. Воцарилась мертвая тишина. Достопочтенный Криспин Блисс стоял точно громом пораженный. Затем он сухо сказал:

– Можешь идти, Дилл.

Дженни повернулась и в отчаянии, обливаясь слезами, направилась к двери, но у Стефена, несмотря на его смущение и виноватый вид, все же хватило присутствия духа воспользоваться ее растерянностью и сунуть деньги в карман ее жакета.

– Прощай, Дженни, – пробормотал он. – Желаю тебе счастья.

Если она и ответила, то он этого не услышал.

С обычным своим спокойствием достопочтенный Криспин закрыл за ней дверь, затем взглянул на Стефена, поджал губы и уставил взор в потолок.

– Десмонд, – начал он, – я предполагал, что вы ведете себя отнюдь не благонамеренно. Но я никак не мог подумать, что вы зайдете так далеко. Будучи другом вашего дорогого батюшки, я безмерно огорчен вашим поведением.

Стефен проглотил комок, вставший вдруг в горле. Щеки его побелели, но темные глаза загорелись огнем.

– Я не совсем понимаю вас.

– Полно, полно, Десмонд. Вы же не можете отрицать, что состоите – и уже довольно давно – в непотребной связи с этой юной особой, которую я только что выгнал.

– Мы были друзьями с Дженни. Она оказывала мне множество мелких услуг. И я в свою очередь пытался помочь ей.

– Ага! – многозначительно кивнул отец-наставник. – И помощь эта, по вашему разумению, заключалась в том, что вы частенько приглашали ее к себе и сидели вдвоем с ней в комнате.

– Она приходила ко мне делать уборку. И я иногда рисовал ее. Вот и все.

– В самом деле? Значит, вы считали вполне возможным – на правах будущего священника – втихомолку использовать в качестве натурщи одну из служанок этого дома Христова. Я почел своим долгом просмотреть кое-что из рисунков, явившихся следствием этого тайного содружества, и, должен признаться, они показались мне весьма и весьма двусмысленными.

Кровь бросилась Стефену в лицо. Глаза его гневно сверкнули.

– Насколько мне известен ваш вкус, сэр, – сказал он, весь дрожа, – я не вижу ничего удивительного в том, что вы их не поняли.

– В самом деле? – парировал Блисс с ледяным спокойствием, которое, по его мнению, так шло его особе. – Видно, и в самом деле мои взгляды – особенно взгляды на мораль – существенно отличаются от ваших.

– Несомненно, – отбросив всякую осторожность, заявил Стефен. – Я бы, например, не стал выбрасывать на улицу эту несчастную из-за одного проступка.

– Не сомневаюсь. Этого-то я как раз и опасался.

– Что вы хотите сказать?

До сих пор отец-наставник искусно держал себя в руках, но сейчас бурлившие в нем чувства вырвались наружу: нос его заострился и высокое чело почти грозно нахмурилось.

– Хотя Дилл и назвала виновника, я не убежден, что она сказала правду. Во всяком случае, я глубоко уверен, что ваше отношение к этой злополучной девице, то, как вы использовали ее во имя так называемого высокого искусства, делает вас, по крайней мере, ответственным, косвенно повинным в ее падении.

Прерывисто дыша, Стефен недобрым взглядом смотрел в упор на Блисса. Наконец он не выдержал:

– Никогда в жизни я не слышал большей мерзости. И большей лжи. Дженни вовсе не падшее существо. У нее есть возлюбленный, и он намерен на ней жениться. Должно быть, это ваше понятие о христианском милосердии понуждает вас чернить без всяких оснований ее и меня?

– Замолчите, сэр! Я не позволю вам говорить со мной в таком тоне. Если бы я слепо следовал велению долга, я обязан был бы потребовать, чтобы вы покинули наш Дом. – Он помолчал, чтобы успокоиться. – Но из уважения к вашей семье, а также заботясь о вашем будущем – ведь у вас еще все впереди, – я склонен быть более снисходительным. Я обязан сообщить вашему отцу о том, что произошло. А вам, конечно, придется дать мне письменное обязательство, что вы раз и навсегда покончите с этой манией, которую вам угодно называть «служением искусству» и которая никоим образом не совместима с избранной вами стезей священнослужителя. Кроме того, я вынужден буду наложить на вас и другую епитимью. Зайдите ко мне в кабинет после вечерней молитвы, и я скажу вам, в чем она будет состоять.

И, не дав Стефену возможности произнести ни слова, он круто повернулся и вышел из комнаты.

– Пошел ты к черту! – в ярости воскликнул Стефен. К сожалению, дверь за отцом-наставником уже захлопнулась.

Несколько секунд Стефен стоял неподвижно, сжав кулаки, пристально глядя на панели полированного дуба, опоясывавшие стены. Затем махнул рукой, присел к столу, вынул из ящика почтовую бумагу и схватил перо.

*Дорогой отец!*

*Я очень старался приноровиться к здешним порядкам, но из этого ничего не вышло. Я не хочу причинять Вам боль и не хочу принимать*

*окончательное решение вопреки Вашей воле, но обстоятельства сложились так, что я вынужден уехать на время – по крайней мере на год, – чтобы кое в чем разобраться, а также проверить свои способности в той области, которая Вам настолько неприятна, что я даже не стану называть ее. Я понимаю, какой наношу Вам удар, но моим единственным оправданием служит то, что я просто не могу поступить иначе.*

*Привет всем в Стиллуотере, а также Клэр. Я напишу Вам теперь уже из Парижа.*

*Стефен*

## Глава VI

Стефен не знал Парижа, и, хотя дыхание этого кипучего города с первого же мгновения опьянило его, он думал лишь о том, какими ироническими взглядами, должно быть, встречают истинные парижане всякого иностранца. Поэтому-то он и решил остановиться в гостинице, о которой в сдержанно-одобрительном тоне, как и подобает священнику, отзывался его отец, и как можно увереннее назвал ее извозчику, после чего тот с головокружительной быстротой помчал его от Северного вокзала по неожиданно пустым воскресным улицам к гостинице «Клифтон» на улице Ла-Сурдиер.

Это было довольно тихое заведение, пожалуй, чересчур унылое, но вполне респектабельное, с квадратным внутренним двором под стеклянной крышей, куда посетитель попадал через узкий проход и куда выходили обнесенные железной решеткой балконы номеров. Сонные слушающие – тон здесь задавала похожая на черепаху кошка, дремавшая на конторке, – нимало не удивились, когда перед ними предстал молодой англичанин. И в самом деле, пожилой швейцар, проведя Стефена наверх, в его номер, который оказался довольно темным и душным, с выцветшими обоями и огромной кроватью под красным балдахином, снял, усердно отдуваясь, с плеча багаж и, к удивлению Стефена, тотчас спросил, не желает ли он чаю.

– Нет, спасибо. – Стефен улыбнулся, подумав о том, как интересно можно было бы написать этого старика с выцветшими глазами, с обвисшими, в красных прожилках, щеками, в полосатом, желто-черном, жилете на фоне мрачной комнаты. – Я хочу прогуляться... посмотреть город.

– Сегодня вы не много увидите, мсье. – Швейцар благодушно пожал плечами. – Все закрыто.

Но у Стефена едва хватило терпения лишь на то, чтобы распаковать чемодан и сунуть вещи в пыльный шкаф. Затем он в крайне приподнятом настроении вышел из гостиницы и пошел наугад по улице Мон-Табор и дальше, через площадь Согласия. Первая его мысль была о Глине, но прощание с ним было настолько мучительным, что он забыл спросить у Ричарда адрес, а тот за это время не написал ему ни слова. Однако Стефен был уверен, что в том кругу, к которому он намерен примкнуть, они непременно встретятся.

Погода была мягкая, солнечная; по бледному небу плыли сверкающие облака. Увидев набережную, обсаженную каштанами, уже одетыми пышной листвой, Стефен чуть не вскрикнул от восторга. Сочные листья легко трепетали на ветру, лаская глаз. Стефен пересек широкий проспект и вышел к Сене, серой и блестящей, как сталь, – она катила свои искрящиеся на солнце воды мимо черных, пришвартованных к берегу барж. На одной из них молодая полная светловолосая женщина развешивала на веревке розовое белье. Маленькая белая собачонка прыгала у ее ног. Мужчина в котелке и фуфайке с закатанными до локтя рукавами мирно курил, сидя на перевернутом ведре.

В неизъяснимом упоении Стефен медленно брел вдоль берега, он прошел по Королевскому мосту, миновал ряд покосившихся книжных киосков и по Новому мосту снова вернулся на остров Ситэ. Здесь он остановился, любуясь игрой красок на воде, темными тенями, наплавлявшими на каменные громады. Только когда дневной свет совсем погас, он повернулся и, одурело вздохнув, направился к себе в гостиницу.

Город начинал пробуждаться от своего воскресного оцепенения. В переулках, к северу от реки, постепенно оживали маленькие кафе. Открылись продуктовые магазины, на улицу вышли подышать свежим воздухом семейства буржуа, на порогах домов появились дородные мужчины в кожаных шлепанцах. Возле еще запертой булочной собирались хозяйки и, мирно судача, ждали, когда откроют, чтобы купить хлеба. «Я в Париже, – пьянея от этой мысли, думал Стефен, – наконец-то, наконец!»



По контрасту с тем, что видел Стефен, «Клифтон» в этом мистическом сумеречном свете походил чуть ли не на суровый склеп. Впечатление это было настолько сильным, что на минуту Стефену захотелось повернуться и пойти ужинать к «Максиму» или в «Кафе Риш» – словом, в один из тех веселых ресторанов, о которых он столько читал. Но он устал и стеснялся идти туда один. Кроме того, он решил не слишком транжирить деньги. От содержания, которое ежегодно давал ему отец, осталось сто пятьдесят фунтов, и этой суммы должно хватить ему на весь год.

Итак, он прошел в холодную, как погреб, столовую и в полном одиночестве – если не считать джентльмена холостяцкого вида, в тускло-коричневом сюртуке из норфолкской шерсти, который не отрываясь читал какую-то книгу в промежутках между едой и во время оной, а также двух старушек в сером, которые непрерывно шептались о чем-то (все трое были, несомненно, англичанами), – съел обед, состоявший из супа, барашка и кислого сливового компота, вполне, конечно, доброкачественный, но начисто опровергавший утверждение, что во Франции искусством французской кухни владеют все повара. Однако ничто не способно было омрачить радужное настроение Стефена. Он, насвистывая, взбежал по ступенькам к себе в номер и заснул беспробудным сном в своей постели под балдахином.

На следующее утро он без промедления отправился на Монпарнас. После длительного размышления он решил не поступать в Школу изящных искусств, а пойти в знаменитую Академическую школу на бульваре Селин, которую вел сам профессор Дюпре. Он без труда нашел студию по карте Парижа, которой предусмотрительно запасся в гостинице. Школа помещалась на верхнем этаже здания, похожего на казарму, за высокой остроконечной оградой с двумя пустыми сторожевыми будками у входа, немного в стороне от бульвара. Застоявшийся запах дубленой кожи указывал на то, что в свое время здесь был интендантский склад, а невероятный шум, доносившийся сверху, на какое-то время создал у изумленного Стефена впечатление, что тут до сих пор расквартированы войска. Когда он поднялся наверх, выполнив необходимые формальности и записавшись на посещение занятий у *massier*<sup>2</sup> – огромного детины с плоским лицом, в сером свитере и парусиновых брюках, похожего на бывшего боксера, да, собственно, и сидевшего-то здесь затем, чтобы не допускать слишком уж бесшабашных выходов, – то обнаружил, что занятия начались.

В большой светлой комнате с огромной голландской печью и стенами, которые, казалось, сплошь состояли из окон, было полно народу – тут сидело человек пятьдесят, и более странного сборища Стефену, пожалуй, не приходилось видеть. В большинстве своем это были мужчины в возрасте от двадцати до тридцати лет, одетые сообразно самым различным вкусам и представлявшие самые разные национальности – бородатые славяне, темнокожие индийцы, группа белесых скандинавов и несколько американцев. Не менее своеобразную картину являли собою и женщины. Внимание Стефена привлекла пожилая особа в мышинного цвета блузе, которая сквозь пенсне в золотой оправе пристально вглядывалась в стоявший перед нею холст – ни дать ни взять сельская учительница перед классной доской.

Шум здесь царил поистине оглушительный: молодые художники без умолку болтали, громко пели на разных языках и перекликались через всю комнату. Казалось, в такой гаме появление Стефена пройдет незамеченным. Но когда он, в своем темном священническом одеянии, с жестким белым воротничком и черным галстуком, какие обязаны носить будущие священники на Клинкер-стрит, несколько поблуднев, нерешительно остановился на пороге, в студии вдруг воцарилось молчание и внимание всех присутствующих, на беду Стефена, обратилось на него. Затем в наступившей тишине кто-то фальцетом выкрикнул:

– Ah! C'est monsieur l'abbé!<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Староста в школе живописи или скульптуры (*фр.*).

<sup>3</sup> А, так это господин аббат! (*фр.*)

Взрыв хохота вторил этому возгласу. Вконец смущенный, Стефен отыскал табуретку, измазанную высохшими красками, но мольберта не оказалось, и, с трудом протиснувшись на свободное место, он положил на колено папку с бумагой для рисования.

Натурщик – старик с длинной седой шевелюрой, похожий на бывшего актера, – сидел в традиционной позе на деревянном помосте в центре комнаты, слегка нагнувшись вперед, подперев подбородок рукой. Стефену не понравилась поза, да и выражение лица у старца было скучающее, безразличное, но делать было нечего: он взял уголь и принялся за работу.

В одиннадцать часов появился мсье Дюпре – мужчина лет шестидесяти, по-театральному красивый, подтянутый, с густой гривой волос, благородной осанкой и подвижными, нервными руками. Брюки у него, правда, слегка провисали сзади и на коленях, но облегающий сюртук придавал ему чинный, даже почтенный вид, что еще больше подчеркивала ленточка Почетного легиона в петлице. При его появлении, нарочито неожиданном, шум слегка поутих, и в этой относительной тишине он стал медленно продвигаться по комнате, точно врач, совершающий обход палаты; время от времени он останавливался и, прищурившись, разглядывал какое-нибудь полотно, после чего произносил несколько отрывистых слов, сопровождая их плавными и широкими жестами.

Заметив, что профессор направляется к нему, Стефен приготовился услышать слова приветствия или какой-нибудь учтивый вопрос, но мсье Дюпре, державшийся с безразличием человека, которого все это очень мало касается, не сказал ни слова. Он только искоса взглянул на Стефена – отчасти с любопытством, а в общем равнодушно, – затем на его рисунок и через минуту, даже не шевельнув бровью, уже стоял возле следующего ученика.

В час дня раздался звонок. В мгновение ока поднялся невообразимый гомон, натурщик вскочил, словно его сбросила со стула спущенная пружина, и, шаркая, спустился с помоста, в то время как студенты, побросав кисти и палочки угля, устремились гурьбою к двери. Расстроенный и разочарованный, Стефен помимо воли последовал за ними, захваченный общим потоком. Внезапно он услышал рядом чей-то приятный голос:

– Вы англичанин, не правда ли? Я сразу вас заметил. Моя фамилия Честер.

Стефен повернул голову и увидел красивого молодого человека примерно своего возраста, который с улыбкой смотрел на него сверху вниз. Светловолосый, с ямочкой на подбородке и голубыми глазами, затененными длинными темными ресницами, он производил необычайно приятное впечатление и казался человеком с открытой душой. Вокруг шеи у него был повязан старенький галстук воспитанника Харроу<sup>4</sup>.

– Я подожду вас внизу! – крикнул он, увлекаемый людским потоком к двери.

На улице Честер протянул Стефену руку.

– Надеюсь, вы не рассердились, что я заговорил с вами. Нам, пришельцам с той стороны Ла-Манша, не мешает держаться вместе среди этого сброда.

После столь удручающего приема, оказанного ему в студии, Стефен рад был обрести приятеля. Он представился, и Честер, помолчав немного, предложил:

– А не позавтракаете ли вы со мной?

И они вместе пошли по бульвару.

Кабачок, в который они направились, находился совсем близко, на площади Селин. Это была узкая комната с низким потолком, вроде погребка, куда вели шесть ступенек; к ней примыкала небольшая темная кухонька, где в очаге пылал уголь и жарилось мясо на вертеле, а в воздухе стоял грохот от медной посуды и приятный запах кушаний. Почти все столики были уже заняты – преимущественно учениками Дюпре, но Честер, не задумываясь, уверенно провел Стефена во двор, декорированный кустиками бирючины, и, пройдя в дальний угол, с невоз-

---

<sup>4</sup> Аристократическая закрытая школа в Англии.

мутимым видом убрал со столика карточку, на которой значилось «занято», ловко забросил шляпу на крючок и указал Стефену на стул.

Не успели они сесть, как из кухни в великом возмущении выскочила дородная краснолицая матрона в черном.

– Нет-нет, Гарри... это столик для мсье Ламберта.

– Не волнуйтесь, пожалуйста, мадам Шобер. – Честер улыбнулся. – Вы знаете, что мсье Ламберт – мой большой друг. К тому же он всегда опаздывает.

Мадам Шобер явно не удовлетворило это объяснение: она спорила и ворчала, но под конец обаяние Гарри Честера – как она ни старалась противостоять ему – одержало все-таки верх. Пожав плечами, как бы в знак капитуляции перед собственной слабостью, она предложила вниманию молодых людей табличку с написанным мелом меню, свисавшую на шнуре с пояса, которым был перехвачен ее передник.

По совету Честера они заказали домашний овощной суп, мясо по-бордоски и сыр бри. На столе уже стоял графин с пенящимся светлым пивом.

– Славная, в общем, старушенция, – с усмешкой заметил Честер, когда она ушла.

Во время еды он поддерживал оживленную беседу и с неистощимым остроумием давал банально-хлесткие характеристики своим соседям. Он показал Стефену итальянца Бьонделло, который в прошлом году – представьте себе! – выставял свои работы в Салоне, а также Пьера Омерля, погибшего человека, который каждый день выпивает по бутылке перно, – сейчас он завтракал с какой-то раскрасневшейся женщиной в широкополой шляпе, при виде которой Честер с улыбкой приподнял брови. Как бы между прочим он задал и Стефену два-три вежливых вопроса касательно его самого. Затем, когда уже принесли кофе, он помолчал с чуть смущенным видом и счел нужным сказать несколько слов о себе.

– Любопытно, правда, – начал он, чертя узоры на клетчатой скатерти, – как можно безошибочно угадать воспитанника университета! И Филип Ламберт оттуда. После Харроу, – он метнул быстрый взгляд на Стефена, – я тоже должен был пойти в Кембридж... если бы не бросил все ради искусства.

И он с обезоруживающей улыбкой поведал Стефену, что отец его был крупным чайным плантатором на Цейлоне, а мать, овдовев, вернулась на родину и поселилась в Хайгете, в большом особняке с множеством слуг. Она, конечно, очень балует его и не ограничивает в деньгах. Он уже полтора года живет в Париже.

– Тут необычайно весело, – в заключение заявил он. – Я непременно должен показать вам все здешние достопримечательности.

– А что вы думаете о Дюпре? – спросил Стефен.

– Он самый здравомыслящий из всех парижских учителей. Вы знаете, он награжден орденом Почетного легиона.

Стефена это слегка покорило, но он промолчал. Честер озадачивал его, как мог бы озадачить впервые увиденный рисунок, хотя и приятный, но слишком замысловатый, на его вкус.

Они покончили с кофе. Посетители вокруг стали расходиться.

– Ваш друг Ламберт, видимо, не собирается сегодня быть здесь, – наконец заметил Стефен, прерывая молчание.

Честер рассмеялся.

– Филип – великий бродяга. Никто не может сказать, когда он появится... и с какой хорошенькой бабенкой.

– Он тоже занимается у Дюпре?

– Он работает дома... то есть *если* работает. У него, видите ли, имеется свой капиталец, и он исколесил всю Европу, учился в Риме и в Вене. А сейчас он с женой снимает неболь-

шую квартирку близ эспланады Инвалидов. М-да... – Честер кивнул. – Должен сказать вам, Десмонд, миссис Ламберт – пикантная штучка. Но конечно, стопроцентная леди.

Эта фраза опять резанула слух Стефена, и он искоса взглянул на своего собеседника, удивляясь, как тот может говорить так о знакомой даме. Но прежде чем он успел ответить себе на этот вопрос, Гарри Честер вдруг выпрямился.

– Вот и Филип идет.

Проследив за взглядом Честера, Стефен увидел стройного, подчеркнуто элегантного мужчину лет тридцати, в коротком коричневом пиджаке, открывавшем манишку, на которой красовался пышный галстук. Его бледное лицо с темными кругами под глазами выглядело томно-усталым. Блестящие черные волосы были разделены аккуратным пробором посередине, но с одной стороны от них отделялся маленький локон, ниспадавший на белый лоб. От его манер – вообще от всего его облика – веяло жеманной леностью, скукой и самомнением.

Направляясь к их столику, он сунул под мышку трость и принялся стягивать с руки лимонно-желтую перчатку, не сводя с Честера взгляда, исполненного легкого презрения и предвкушения предстоящей забавы.

– Спасибо, старина, за то, что постерег мой столик. А теперь – марш отсюда. Я пригласил кое-кого на два часа. Нянька мне при этом не понадобится.

– Мы уже уходим, Филип. – В тоне Честера появились подбострастные нотки. – Послушай, я хочу познакомить тебя с Десмондом. Он сегодня начал заниматься у Дюпре.

Ламберт взглянул на Стефена и вежливо поклонился.

– Десмонд только в прошлом семестре окончил Оксфорд, – поспешил доложить Честер.

– В самом деле? – проронил Ламберт. – А какой колледж, разрешите поинтересоваться?

– Святой Троицы, – ответил Стефен.

– Вот оно что! – Ламберт изобразил улыбку, обнажившую ровные белые зубы, и, сняв вторую из своих узких замшевых перчаток, что заняло немало времени и что он проделал, нисколько не смущаясь, в полном молчании, протянул Стефену маленькую руку. – Рад с вами познакомиться. Сам я окончил правовой факультет. Пожалуйста, не утруждайте себя и не торопитесь. Я могу найти и другой столик.

– Уверю вас, – сказал Стефен, вставая, – что мы уже закончили.

– В таком случае приходите как-нибудь ко мне на чай. Мы почти всегда дома по средам в пять часов. Гарри приведет вас. Теперь нас будет двое из Оксфорда и один, – он с улыбкой взглянул на Честера, – который чуть не поступил в Кембридж.

Счет, поспешно принесенный мадам Шобер, уже лежал на столе. Поскольку Честер сделал вид, будто не замечает его, Стефен взял бумажку и, несмотря на неожиданный и весьма шумный протест Честера, расплатился.

## Глава VII

Свобода, которой пользовался теперь Стефен, была для него чем-то таким упоительным и новым, что он с восторгом и без всякого труда втянулся в этот приятный для него образ жизни, тем более что через неделю после своего приезда в Париж он получил письмо из Стилуотера, снявшее большую тяжесть с его души. Настоятель, правда, писал о том, какую боль причинил ему внезапный отъезд Стефена, но в общем прощал его. Видимо, писал он, эта тяга к живописи (слово «влечение» было зачеркнуто) оказалась слишком сильной и Стефен не сумел ей противостоять. А потому, может, «оно и к лучшему», если оба они, как предлагает сам Стефен, сочтут этот годовой перерыв своего рода «испытательным сроком». А пока он одобряет выбор гостиницы, сделанный Стефеном, уверен, что взывать к добродетели сына ему не придется, и хочет, чтобы Стефен жил сообразно своему положению и не нуждался ни в чем.

Просыпаясь утром, Стефен не переставал удивляться тому, что он в Париже и действительно «занимается живописью». Он вставал, быстро одевался и, поскольку завтрак в «Клифтоне» не сулил ничего приятного, отправлялся в маленькую молочную за углом. Здесь за тридцать су ему подавали кружку горячего кофе с молоком и две слоеные булочки, только что вынутые из печки. Прогулка до студии по прохладным утренним улицам была истинным наслаждением. Толпы суетливых пешеходов, полицейские в голубых накидках, вставшие спозаранку хозяйки, направляющиеся за покупками, перевесив корзинку через руку, солдат-зуав в малиновых шароварах, две привратницы, судачащие, опершись на метлы, старик-дворник, выливающий ведро воды на канализационную решетку, тележки, груженные свежими овощами, с грохотом выезжающие с Центрального рынка, – все приводило его в восторг, равно как и резкие пронзительные выкрики, многоязычный гомон, нежный перезвон колоколов и расплывающиеся в дымке серые громады зданий, изящные белые мосты и красавица-река, по которой солнце уже разбросало свои первые блики.

Зато к атмосфере в студии он никак не мог привыкнуть. Отсутствие порядка и постоянный шум мешали сосредоточиться. Казалось, многие учащиеся приходили сюда не столько для того, чтобы работать, сколько из желания развлечься и дать волю своим низменным наклонностям. Они смеялись и пели, грубо подшучивали друг над другом, ходили в кафе, где без конца громко разглагольствовали, спорили и ссорились, усиленно подчеркивая свою принадлежность к богеме манерой одеваться и держать себя. Они говорили на местном жаргоне, были всеведущи по части последних «направлений», признавали Мане, Дега, Ренуара и всячески изощрялись в подражании им, презирали Милле и Энгра, критиковали Делакура и почти ничего не могли создать сами.

Были, конечно, и такие, которые занимались очень прилежно. Рядом со Стефеном сидел юноша-поляк из маленького провинциального городка близ Варшавы – подстегиваемый честолюбием, он без гроша в кармане приехал в Париж. Для того чтобы оплатить занятия у Дюпре, он целый год работал носильщиком на Монпарнасском вокзале. Усердие его было поистине устрашающим, но талант совершенно отсутствовал. Стефен часто надеялся, что как-нибудь во время своего ежедневного обхода Дюпре одним словом милосердно положит конец этим бесполезным мукам. Но профессор ничего не говорил и ничего не предпринимал, лишь подправит какую-нибудь линию или бесстрастным тоном укажет на нарушение законов композиции. Столь же безразличным было и его отношение к Стефену, если не считать того, что раз или два, посмотрев работу Стефена, он как-то странно, чуть ли не украдкой, испытующе поглядел на него, точно видел впервые.

Постепенно Стефен начал понимать, что под внешней холодностью и высокомерием Дюпре скрывается едкая горечь разочарования, желчное раздражение человека, который в глубине души знает, что его юношеские мечты и надежды потерпели крах. Получить признание

в официальных кругах, ежегодно выставляться в Салоне (где неизменно на выгодном месте вывешивается его очередная, старательно выписанная картина на безобидный сюжет), заседать в советах и комиссиях, представлять «искусство» в белых перчатках на правительственных приемах – что все это могло значить для человека, который намеревался потрясти мир неслыханным шедевром? Дюпре никогда по-настоящему не интересовался своей школой, а еще меньше – своими учениками, если не считать тех случаев, когда с щемящим чувством зависти видел перед собой талант, который мог превзойти его собственное дарование. За высокомерным фасадом скрывался опустошенный человек, вынужденный подчиняться тому, другому, за которого он себя выдавал, – человек, больше достойный жалости, нежели презрения. И теперь, когда профессор с важным видом появлялся в студии, Стефен неизменно представлял его себе в конце дня: медленно сняв узкий сюртук и начищенные штиблеты на пуговицах, пошевелив затекшими пальцами, чтобы не так ныли мозоли, он садится, сгорбившись, у печки в своей роскошной мастерской и, повернувшись к незаконченному полотну «Бретонская свадьба», с содроганием думает: «Боже мой, неужели я опять должен браться за это?»

Обедал Стефен обычно с Честером у мадам Шобер, но иногда он избегал чрезмерного дружелюбия Гарри и отправлялся бродить один по набережной, жуя булку с ветчиной, намазанной ярко-желтой горчицей. Утолив голод, он торопливо бежал в музей – в Лувр или Люксембургский дворец. И лишь с наступлением темноты, покинув длинные галереи, он выходил на улицу, растерянно стоял, пока глаза не привыкнут к реальности окружающего, и шел к себе в «Клифтон».

Честеру и нескольким другим молодым людям, с которыми Стефен познакомился у Дюпре, казалось просто непостижимым, что он проводит вечера в одиночестве, и они неоднократно приглашали его с собой на Монмартр. Как-то раз он согласился, и они всемером отправились в кафешантан «Голубая шляпка» близ «Мулен-де-ла-Галетт».

Но у Стефена скоро скулы начало сводить от скуки: такой глупой и бессмысленной казалась ему эта видимость оживления и веселья. В танцевальном зале топала, толкалась, кружилась полупьяная толпа, которую множили и искажали десятки зеркал, – танцоры выделяли немислимые фигуры под оглушительный рев третьесортного оркестра. А лица завсегдатаев с ввалившимися щеками и мертвыми глазами производили и вовсе удручающее, даже отталкивающее впечатление. Несколько известных кокотов, которых показал ему Честер, были просто омерзительны, а их кавалеры в облегающих черных костюмах выглядели мрачными дегенератами.

Через некоторое время к компании, уже разошедшейся вовсю, присоединилось несколько молодых женщин. Стефен с любопытством принялся их рассматривать. Их грубые голоса и панибратское обращение, бесцеремонная манера обнимать за шею и громким шепотом произносить всякие нежности вызвали в нем чувство гадливости и отвращения. Он сидел бледный, молчаливый, точно рыба, вынутая из воды; внезапно одна из девиц наклонилась к Честеру, который к этому времени успел изрядно напиться, и, глядя на Стефена, шепнула ему что-то на ухо. Честер так и покатился со смеху.

Стефен оставил это без внимания, но по дороге домой потребовал у Честера объяснений.

– Да ничего особенного, старина. Просто она сказала, – пояснил Честер извиняющимся тоном, опуская грубое, нецензурное выражение, – что ты странный малый. – И уже вдогонку Стефену крикнул: – Мне очень жаль, что тебе не было весело сегодня. Не забудь, что в среду мы идем к Ламбертам. Заходи за мной, и отправимся вместе.

В назначенный день около четырех часов Стефен явился на улицу Бонапарта, где в доме номер пятнадцать Гарри снимал комнату на самом верху. Взобравшись по крутой лестнице на четвертый этаж, Стефен услышал громкие голоса спорящих и, толкнув приоткрытую дверь, увидел Честера, препиравшегося с коротеньким человечком в квадратном черном цилиндре и поношенном пальто, который, не обращая на него ни малейшего внимания, наблюдал за своим

помощником, а тот деловито засовывал во вместительный холщовый мешок каминные часы, две фарфоровые парные вазы и разные безделушки, украшавшие комнату.

– А теперь позвольте ваши часы, мсье Честер.

– Побойся бога, Морис, – взмолился Честер, – оставь мне часы. Ну хотя бы на этот раз. Подожди до конца недели, и я с тобой сполна рассчитаюсь.

Тут Честер увидел Стефена. На какое-то мгновение он растерялся, затем подошел к гостю и, изобразив на лице улыбку, доверительно пояснил:

– Вот идиотское положение, Десмонд! Кончились деньги, и пришлось залезть в долги. А теперь эти проклятые кредиторы нажились и обдирают как липку. И должен-то я им пустяк. Всего каких-нибудь две сотни франков... а ведь в конце месяца я непременно получу чек от матушки. Конечно, я не собирался просить у тебя, но если бы ты мог...

Небольшая пауза.

– Я с радостью выручу тебя, – охотно согласился Стефен.

– Огромное спасибо, старина. Я верну тебе с процентами первого числа. Держи, Морис, грабила ты эдакий. А теперь *foutre le camp*!<sup>5</sup>

Честер сложил хрустящие банкноты, которые Стефен вынул из бумажника, и сунул судебному приставу. Тот, послушав палец, дважды пересчитал их, затем молча кивнул, вытряхнул содержимое мешка на стол и, поклонившись, с непроницаемым видом выскользнул в сопровождении своего помощника из комнаты.

– Вот и избавились! – весело рассмеялся Честер, словно был свидетелем веселой шутки. – Мне бы очень не хватало моих старых горшков. Ну и, конечно, этого... – Поставив вазы на их прежнее место на каминной доске, он с небрежным видом нажал на пружинку маленькой плоской коробочки, крышка отскочила, и глазам Стефена предстала круглая серебряная медаль на голубой шелковой ленточке. Скромно опустив глаза, Честер помедлил и с совершенно очаровательной, чуть смущенной улыбкой добавил: – О таких вещах не принято распространяться, Десмонд. Но уж раз вы застали меня, так сказать, врасплох... это медаль Алберта. Я получил ее года два тому назад.

– За что же, Честер? – невольно проникаясь к нему уважением, спросил Стефен.

– За так называемое спасение утопающих. Какая-то глупая старуха упала за борт фолкстонского парохода. Впрочем, трудно винить ее за это: погода была чертовски бурная... зима. Я бросился за ней. Такая ерунда, что и говорить-то не о чем. Мы пробыли в воде не больше получаса, пока пароход развернулся и выслал за нами шлюпку. Но хватит об этом, пора идти. Если мы не поторопимся, то опоздаем к чаю.

Честер снова был в своем обычном хорошем расположении духа и болтал и смеялся все время, пока они спускались по лестнице и шли к Ламбертам, которые жили в тупике позади авеню Дюкен. Там, в глубине мощенного булыжником двора, стоял небольшой серый каменный домик – ярко-зеленая дверь и ящики на окнах того же цвета указывали на то, что здесь живет человек с художественным вкусом; в свое время, в эпоху Генриха Четвертого, это, по-видимому, была привратническая при большом доме. В тесных комнатах было довольно темно, пахло едой и недавно сожженной курительной свечкой, но и здесь чувствовался тот же художественный вкус: яркие пятна ковров, занавески из бус, бамбуковые стулья. На пианино лежала испанская шаль.

По милости непоседы Честера они пришли слишком рано. Ламберт, дремавший в качалке у догорающего камина, все еще пребывал в состоянии послеобеденного оцепенения и с трудом приподнял отяжелевшие веки, когда они вошли. Зато миссис Ламберт радушно приветствовала их. Она была высокая и стройная, немного старше, чем ожидал Стефен, с большими зелеными глазами, слегка заостренными чертами лица, рыжеватыми волосами и харак-

---

<sup>5</sup> Пошел вон! (*фр.*)

терной для всех рыжих молочно-белой кожей. На ней было нарядное платье из белой парчи, с красивым круглым вырезом у шеи и длинной широкой юбкой.

Между миссис Ламберт и Честером тотчас завязалась беседа, так что Стефен мог спокойно наблюдать за хозяйкой дома – она сидела возле лакированной ширмы в изящной позе, изогнув длинную шею; заметив его пристальный взгляд, она посмотрела на него с лукавой усмешкой:

– Надеюсь, вы одобряете мое платье?

Всем своим тоном она вызывала его на комплимент, и он сказал:

– Я уверен, что Уистлер с удовольствием написал бы вас в нем.

– Как это мило с вашей стороны. – И она доверительно добавила: – Я его сама сшила.

Вскоре она вышла и почти тотчас вернулась, неся на серебряном подносе несколько чашечек, гору тончайших сэндвичей с кресс-салатом и птифуры. Когда она стала разливать чай, Ламберт зевнул и потянулся.

– Чай! – воскликнул он. – Не могу жить без чая. Да здравствует бодрящий чай! Налей мне покрепче, Элиза. – Взяв из ее рук чашку и небрежно покачивая ею, он добавил: – Возможно, даже этот чай прибыл с твоих обширных плантаций на Цейлоне, Гарри. Разве это не вдохновляет тебя поскорее отведать его? Ты уж не скрывай от нас, если он придется тебе по вкусу. – Он взглянул на Стефена. – Ну-с, что же вы поделяваете в этом гнусном городе, мсье аббат?

Стефен вспыхнул. Он понял, что Честер рассказывал здесь о нем.

– Должно быть, вам кажется это странным: будущий священник – и вдруг изучает живопись. – И он вкратце пояснил, каким образом попал в Париж.

После его слов на какое-то время наступило молчание, затем Ламберт с обычной своей иронией воскликнул:

– Браво, аббат! Теперь вы во всем покаетесь, и мы безоговорочно отпускаем вам ваши грехи.

А Элиза, слегка наклонившись к нему, прожурчала с подкупающей улыбкой:

– Вас, видно, очень тянуло к живописи. Выпейте еще чаю.

Поднявшись, чтобы передать ей чашку, Стефен заметил на стене три шелковых веера, разрисованных в японской манере. Он остановился, пораженный изяществом исполнения.

– Что за прелестные вещицы! Чья это работа?

Ламберт приподнял брови. Затем закурил сигарету и только тогда намеренно небрежным тоном ответил:

– Собственно говоря, дорогой аббат, моя. Если вам не скучно смотреть на такие вещи, я могу показать вам еще кое-что.

Он поставил чашку на стол и принес из маленького коридорчика несколько полотен, которые с усталым видом устанавливал одно за другим на высокий стул у окна так, чтобы на них падало побольше света.

Почти все картины были маленькие и незначительные по теме – ветка цветущей вишни в синей вазе; две плакучие ивы склонились над заросшим прудом; мальчуган в соломенной шляпе сидит на дереве у реки, – но в каждой была своеобразная декоративность, придававшая известную прелесть рисунку. И благодаря этому безжизненная картина приобретала особое, изысканное очарование.

Когда осмотр полотен подошел к концу – а их было пять, – Стефен повернулся к Ламберту.

– Я и не думал, что вы можете так писать... Это восхитительно.

Ламберт с безразличным видом пожал плечами, хотя его явно порадовала похвала, тогда как жена его, перегнувшись к Стефену, горячо пожала ему руку.



– Фил настоящий гений. Он и портреты пишет. – Она надолго остановила на Стефене взгляд своих зеленых блестящих глаз. – Если у вас найдется покупатель... учтите, что все дела веду я.

Тут раздался звонок у входной двери, и один за другим стали прибывать гости. Все они были словно специально подобраны для этого дома, где царила атмосфера утонченной богемы: молодой человек в белых носках с рукописью под мышкой; еще один мужчина, не такой молодой, зато с квадратными плечами и необычайно холеной внешностью – из американского посольства; натурщица по имени Нина, которую Стефен частенько видел у мадам Шобер; дородный пожилой француз с моноклем, который с умильной галантностью приложился к ручке Элизы и на которого, как на возможного покупателя, она обратила всю свою тонкую лесть. Принесли свежий чай, Ламберт принялся разливать виски, гул голосов стал громче, и вскоре Стефен, считая, что первый визит никогда не следует затягивать, встал, чтобы откланяться. И Филип, и его жена усиленно приглашали его заходить почаще. Миссис Ламберт даже оторвалась от разговора с кем-то из гостей и проводила его до двери.

– Поедьте с нами в воскресенье кататься на лодке. Мы хотим устроить пикник в Шанпросей. – Она помедлила и, сделав удивленные глаза, словно одаряя своего слушателя величайшей похвалой, сказала: – А знаете, вы очень понравились Филипу.

Итак, в воскресенье, а затем и в последующие дни Стефен ездил с Ламбертами – иногда один, а иногда с Честером или с кем-либо еще из их друзей – в прелестные места между Шатильоном и Мелэном, где Сена образует такие красивые излучины. Они садились у Нового моста на пароходик, доезжали до Аблона, а там брали напрокат лодку и лениво плыли против течения медлительной зеленой реки, мирно извивавшейся меж берегов, где рос знаменитый Сенарский лес, затем высаживались у какого-нибудь прибрежного ресторанчика и завтракали под открытым небом за простым дощатым столом.

Погода была великолепная, деревья стояли во всей своей зрелой красе, мальва и подсолнечники были в полном цвету. Сверкающее солнце и легкий, ласковый ветерок, свежий воздух, приятная компания, ошеломляющая новизна всего, что он видел и слышал, – пронзительный свисток на барже, цвет блузы рабочего, поза, в какой стоит жена шлюзового сторожа, отчетливо вырисовываясь на фоне неба, – все это, а главное – сознание, что он наконец-то «нашел себя» в искусстве, рождало у Стефена дрожь восторга, действовало на него, как дурман. Ламберт, если не считать кратких периодов мрачной меланхолии, был совершенно очарователен, он с блеском вышучивал их всех по очереди, тут отпустит острогу, там – эпиграмму, а то примется читать наизусть длинные отрывки из Верлена и бодлеровских «Цветов зла».

– «Священнее, чем Инд, – тихо декламировал он, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, опустив длинные пальцы в холодную воду; узкая грудь его вздымалась, прядь волос упала на влажный лоб. – О, эти лилии... вы – словно алебастровые чаши... прозрачно-розовые... и холодные... холодные, как груди речной нимфы...» – И так далее.

Впрочем, его прельщали не только красоты природы – всякий раз, как женщина, прислуживавшая им в ресторане, была более или менее недурна собой, он принимался неистово кокетничать с нею, не обращая внимания на раздраженные взгляды жены.

Сначала Стефен возил с собой альбом – ему хотелось зарисовать все, что он видел, но Ламберт своей иронической улыбкой убил в нем всякую охоту это делать.

– Вы должны накапливать впечатления вот тут, дорогой аббат. – И он легонько постучал себя по лбу. – Через некоторое время... когда вы будете один... все это снова всплывет перед вами.

Как-то раз, в воскресенье вечером, после на редкость приятно проведенного дня, Стефен простился с Ламбертами и двумя другими участниками прогулки на пароходике и, высадившись на Сен-Бернарской набережной, отправился с себе в гостиницу. Солнце, закатившееся сейчас за купол Трокадеро, весь день сияло на небосводе. Сраженные дневной жарой, они иску-

пались немного ниже запруды у Эрмитажа, отлично позавтракали холодной форелью и паштетом, подкрепились благородным шамбертенем, а затем поспали на теплой траве под буками Сенарского леса.

До чего же хорошо чувствовал себя Стефен! Кожу слегка пощипывает от загара, легкие полны свежего деревенского воздуха, каждая жилка трепещет после холодной речной воды... Он был поистине на верху блаженства!

Внезапно, когда он пересекал улицу Бьевр, из узенькой входной двери как раз перед ним вышел человек. На нем были грубые башмаки, перепачканные парусиновые штаны и заплата синяя блуза грузчика. Вокруг шеи небрежно повязан красный платок. Он походил на труженика, направляющегося домой после утомительного рабочего дня, однако что-то в нем – эта манера идти, распрямив плечи, горделиво вскинув голову, – заставило Стефена вздрогнуть. Он бросился за незнакомцем.

– Глин!

Ричард Глин обернулся – лицо его было сурово и хмуро, однако, когда он всмотрелся в приближавшегося к нему человека, морщины на его лбу разгладились.

– Никак это ты, Десмонд... Значит, все-таки приехал!

– Пять недель назад. – Стефен так и сиял от удовольствия. – Я все время надеялся, что рано или поздно набреду на тебя. Послушай, я как раз возвращаюсь к себе в гостиницу. Пойдем со мной и пообедаем вместе.

– Что ж, – раздумчиво заметил Глин, – я, пожалуй, не прочь проглотить чего-нибудь. У меня сегодня еще крошки во рту не было.

– Боже мой, чем же ты был так занят?

– Писал... с шести утра, – ответил Глин с какой-то мрачной яростью. – Я склонен забывать про завтрак, когда работаю... особенно когда мне не даются эти проклятые переходы тонов.

Его агатово-желтые глаза сверкнули нетерпеливым блеском, выдавая, какого напряжения стоили ему долгие и страстные творческие поиски. Он взял Стефена под руку, и они зашагали вместе по улице.

## Глава VIII

Появление Глина – в красном шейном платке и грубых башмаках, подбитых большими гвоздями, – вызвало некоторое замешательство в столовой «Клифтона». Престарелому метрдотелю, воспитанному в традициях английских лордов, это явно не понравилось, а две старые девы, которые до сих пор с симпатией и одобрением поглядывали на Стефена, возмущенно и удивленно зашептались. Ричарда все это, однако, нимало не тронуло, и, усевшись на стул, он с явным любопытством принялся осматриваться.

– Зачем, ради всего святого, ты живешь в таком месте, Десмонд?

– Право, не знаю... наверно, потому, что я уже привык тут.

Глин попробовал суп – по обыкновению, жирную водицу, приправленную мукой.

– Может быть, тебе нравится, как здесь готовят? – предположил он.

Стефен рассмеялся.

– Я понимаю, что это не бог весть что. Но второе будет неплохим.

– Да уж не мешало бы. – Ричард надломил еще один пирожок. – Я же сказал тебе, что я голоден. Как-нибудь вечером я свожу тебя в такое местечко, где можно по-настоящему поесть.

– К мадам Шобер?

– Господи, конечно нет! Уж во всяком случае, не в эту артистическую харчевню!.. Ненавижу подделку ни в еде, ни в живописи. Нет, я поведу тебя в извозчичье бистро, что рядом со мной. Можешь не сомневаться: в кабаке, куда ходят извозчики, всегда хорошо кормят. Там делают такой паштет из зайца, умереть можно! – Глин помолчал. – А теперь расскажи мне, что ты подделываешь.

Стефен охотно, даже с восторгом, принялся подробно рассказывать о своем житье-бытье. Он поведал об утренних «бдениях» у Дюпре, в самых теплых тонах описал свою дружбу с Честером и Ламбертами, не без лиризма обрисовал их совместные поездки в Шанпросей. Сначала Глин слушал с полусаркастической, полуснисходительной улыбкой, но мало-помалу лицо его приняло серьезное выражение, и он вопросительно посмотрел на своего собеседника.

– М-да! – протянул он, когда повествование было окончено. – Ты, я вижу, был очень занят. Может быть, поднимемся потом к тебе и посмотрим, что ты за это время сделал?

– Да у меня почти нечего показывать, – поспешно ответил Стефен. – Всего несколько набросков. Я, понимаешь ли, главным образом отрабатывал штрих.

– Понимаю, – сказал Глин.

И молча принялся жевать неподатливый, как резина, английский пудинг, который подавали в «Клифтоне» на сладкое. Добрых пять минут он не произносил ни слова.

Затем в упор посмотрел на Стефена из-под нахмуренных бровей: во взгляде его читалось нескрываемое порицание.

– Десмонд, – сказал он, – ты хочешь писать или ты намерен всю жизнь валять дурака на манер какого-нибудь персонажа из «Богемы»?

– Я не понимаю тебя.

– Тогда слушай. В этом городе есть тысяч десять бездельников, которые воображают себя художниками, потому что немного занимаются живописью, немного малюют, а вечерами сидят в кафе и мелют языками о своих мертворожденных шедеврах. Ты стал почти таким. Черт побери, ты же понапрасну теряешь время, Десмонд. А живопись – это работа, работа и еще раз работа. Тяжелая, чертовски трудная работа, которая вытягивает из тебя все жилы. А ты катаешься по Сене, развалишься в лодке, в обществе недопеченного позера, который декламирует тебе Верлена и Бодлера.

Стефен вспыхнул от возмущения.

– Ты несправедлив, Глин. Честер и Ламберт – порядочные люди. А у Ламберта, несомненно, большой талант.

– Чепуха! Что он написал, чем занимается? Изготавливает безделушки на японский манер: раскрашивает веера, делает мелкие зарисовки... О, это, конечно, немало, согласен, но так мелкоотравчато... так надуманно... и так незначительно.

– Но это же вульгарно – писать большие полотна.

Разобиженный Стефен невольно процитировал любимое изречение Ламберта, и Глин сразу понял, откуда дует ветер. Он оглушительно расхохотался.

– Что же ты в таком случае скажешь про Рубенса и Корреджо, или дель Сарто с их грандиозными замыслами, или про старика Микеланджело, расписавшего весь потолок Сикстинской капеллы своим гигантским «Сотворением мира», трудившегося так упорно, что он по нескольку дней подряд не ложился в постель, а если и спал, то не раздеваясь? Все они, по-твоему, вульгарны? Нет, Десмонд... Ламберт – это всего-навсего способный ремесленник, ничтожный художник, о котором никто никогда и не слышал бы, если б не его бойкая супруга. Я ничего не имею против этого малого, я думаю сейчас прежде всего о тебе, Десмонд. У тебя есть то, за что Ламберт с радостью отдал бы душу. И я не хочу видеть, как ты хоронишь этот дар по собственной дурости. Что же до Гарри Честера, – заметил в заключение Глин, – то неужели ты так наивен, что до сих пор не раскусил его?

– Я тебя не понимаю, – угрюмо молвил Стефен.

Глин хотел было просветить друга на этот счет, но передумал и ограничился лишь презрительной улыбкой.

– Сколько он у тебя выудил?

Стефен покраснел еще больше. Честер неоднократно занимал у него по мелочам и теперь должен был ему более пятисот франков, но разве он не дал честного слова вернуть все?

– Вот что я скажу тебе, Десмонд, – уже более спокойно продолжал Глин, – ты не с того начал, попал в дурную компанию и, что самое скверное, стал настоящим лоботрясом. Если ты не возьмешься за ум, то сам выроешь себе могилу. Помни, что в последнем кругу ада Данте поместил художника, который не работает!

Последовало долгое, натянутое молчание. Хотя Стефен и оборонялся, но когда он сравнил свой бесцельно проведенный день с напряженным рабочим днем Глина, ему стало стыдно.

– Что же я должен делать? – спросил он наконец.

Глин перестал хмуриться.

– Прежде всего надо выбраться из этой дурацкой богадельни, от которой так и несет англиканским духом.

– Когда?

– Немедленно.

На лице Стефена отразилось такое смятение, что это даже рассмешило Глина, но через минуту он уже снова был серьезен.

– Я не могу предложить тебе разделить со мной мою конуру. Но я знаю человека, который с радостью примет тебя.

– Кто же это?

– Его зовут Жером Пейра́. Папаша Пейра. Человек он уже пожилой, не очень обеспеченный и будет только рад, если кто-нибудь поможет ему нести бремя расходов. Станный тип, но, ей-богу, настоящий художник, совсем не то что твоя претенциозная богема. – Глин усмехнулся так, что Стефену стало не по себе, но, тотчас снова приняв серьезный вид, продолжил: – С Дюпре, конечно, все должно быть кончено. Можешь работать у меня в мастерской. И я познакомлю тебя с торговцем, у которого я покупаю краски. Его зовут Наполеон Кампо. Он дает в кредит... иногда. А теперь пошли.

По своей натуре Стефен не склонен был к внезапным переменам и неожиданным решениям, однако в доводах Глина была всепобеждающая сила, а в том, как он изложил их, – несокрушимая убежденность. Вот почему Стефен прошел в контору гостиницы и, попросив счет, расплатился. Затем он сложил вещи и велел снести их вниз, смягчая впечатление от своего неожиданного отъезда щедрой раздачей чаевых.

Глин стоял в коридоре, олицетворяя собой, по мнению персонала гостиницы, исчадие ада, и весьма холодно наблюдал за этим ритуалом. Наконец, не выдержав, он сумрачно заметил:

– Я посоветовал бы тебе, Десмонд, не транжирить зря деньги. Они тебе еще понадобятся, прежде чем ты выбьешься в люди. Пошли.

– Подожди, Глин. Пусть они найдут нам извозчика.

– К черту извозчиков. Ты что, слишком слаб и не можешь идти?

Схватив чемодан, который был далеко не легким, Ричард вскинул его на плечо и направился к выходу. Стефен вышел вслед за ним в сверкающий полумрак улицы.

Путь до обиталища Пейра был неблизким, но Глин, который находил какое-то дикое удовольствие в максимальном напряжении всех своих сил, шел быстрым шагом, ни разу не остановившись и не опустив на землю чемодан. Наконец в маленьком темном переулке на Левом берегу, завернув за угол, образуемый от слияния улицы Д’Асса и Монпарнасского бульвара, Глин вошел в покосившийся подъезд рядом с кондитерской, которая хоть и была еле освещена свисавшей с потолка лампой, отличалась удивительной чистотой, и одним духом, перепрыгивая через три ступеньки, взбежал по каменной лестнице. На втором этаже он остановился, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, повернул ручку; Стефен вошел следом за ним.

Они очутились в трехкомнатной квартире; в столовой, служившей одновременно гостиной и обставленной с мещанской аккуратностью, у стола, накрытого клеенкой, сидел маленький сутулый человечек лет пятидесяти с плоским морщинистым лицом и лохматой бородой и, не обращая внимания на пение облезлого дрозда, порхавшего в клетке у окошка, слегка наигрывал что-то на окарине, – несмотря на жар, исходивший от раскаленной печки, он был в старом черном пальто с поднятым воротником и в черном котелке. При виде Глина глаза его, ясные и по-молодому задорные, приветливо засветились. Он положил инструмент и, встав со стула, по-дружески и вместе с тем чинно поцеловал Ричарда в обе щеки.

– Пейра, – без всяких предисловий сказал Глин, высвободившись из его объятий, – я привел тебе постояльца. Это мой друг, Стефен Десмонд.

Жером Пейра перевел взгляд с Глина на Стефена и задумчиво осмотрел его – в этом пристальном взгляде было что-то наивное и в то же время благожелательное.

– Если он твой друг, *mon vieux*<sup>6</sup>, он станет и моим другом. Извините, мсье Десмонд, что я принимаю вас в таком виде. Ричард знает, как я боюсь сквозняков.

– Надеюсь, мы вам не помешали, – смущенно заметил Стефен.

– Что вы! По вечерам я имею обыкновение заниматься самосозерцанием. Порой я нахожу свою душу изумительной, а порой отталкивающей. Сегодня, – и он печально улыбнулся, – я рад всему, что может отвлечь меня от моих мыслей.

– Десмонд – живописец, Пейра. Он будет работать со мной... и с тобой.

– Прекрасно. – Пейра воспринял это известие как нечто само собой разумеющееся. – Рад вас видеть у себя в доме... Во всяком случае, пока что это мой дом, хотя, вообще-то, он принадлежит мсье Биску, кондитеру. Но это не важно. Мы ведем здесь жизнь отшельников, вдали от женской красоты и блеска мимолетной славы, ради создания шедевров, которые получают признание через тысячу лет после нашей смерти.

– Какая сладостная перспектива! – с иронической снисходительностью воскликнул Глин.

– Только эта перспектива и поддерживает в нас желание жить.

---

<sup>6</sup> Страница (*фр.*).

– А как же святая Тереза?

– О, само собой разумеется. Пример этой благородной души крайне вдохновляющ. – Пейра повернулся к Стефену. – Вы бывали в Испании?

– Нет.

– В таком случае мы когда-нибудь вместе совершим туда паломничество. В Авила-де-лос-Кабальерос... Монастырь стоит в Кастилии за гранитными стенами, словно корона в окружении диких скал, а вдали синеют горы Гредос... летом его жжет палящее солнце, зимой – леденит стужа.

– Вы там были? – вежливо осведомился Стефен.

– Не раз. Но только в мечтах.

Глин громко расхохотался.

– Предупреждаю тебя, Десмонд: этот сумасшедший, который никогда не заглядывал в церковь и говорит омерзительные вещи про папу, испытывает какое-то дурацкое благоговение перед святой Терезой.

Пейра осуждающе покачал головой.

– Друг мой, не поминай всуе имя нежной и самоотверженной женщины из древней Кастилии, которая возродила к жизни традиции древнего ордена, попранные этими сплетницами и лентяйками – кармелитками. Она с умом взялась за дело, действуя где обаянием, а где скромностью, где молитвой, а где непреложностью доводов, сочетая долготерпение святой с твердостью морского капитана. К тому же она была поэтессой...

– Я уйду, – сказал Глин, ухмыльнувшись, и направился к двери. – Предоставляю вам знакомиться друг с другом. Я жду тебя завтра у себя в мастерской, Десмонд, в семь утра. Доброй ночи.

Он вышел. После некоторого молчания Пейра подошел к Стефену и протянул руку.

– Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь как дома, – просто сказал он.

## Глава IX

И вот для Стефена – под влиянием Глина и Пейра – началась новая жизнь, наполненная неустанным трудом, совершенно противоположная его недавним представлениям о жизни художника. Жером Пейра, известный всему кварталу Плезанс как «папаша Пейра», происходил из самых низов: родители его, ныне умершие, о которых он говорил всегда с гордостью, были всего лишь простыми крестьянами, обрабатывавшими несколько жалких гектаров земли близ Нанта. Сам Пейра тридцать лет провел на государственной службе; это был образцовый мелкий чиновник в бумажных нарукавниках и пиджаке из альпака, который целыми днями корпел над пыльными папками во Дворце правосудия. За всю жизнь он только раз выезжал за пределы Франции – и то в качестве третьестепенного лица в юридической комиссии, направленной в Индию. Там он проводил все свободное время под высокими пальмами и раскидистыми деревьями Калькуттского зоосада в наивном и восторженном созерцании животных за решеткой. Через несколько месяцев после его возвращения на родину среди чиновников министерства произошло сокращение, и Пейра вышел на пенсию, столь ничтожную, что ему едва хватало на хлеб. Затем, совершенно неожиданно – ибо прежде он никогда не проявлял ни малейшего интереса к искусству, – в нем проснулся художник, и он начал усиленно писать. Да не только писать, но и со спокойной совестью считать себя гениальным. Никогда в жизни не взяв ни одного урока живописи, он писал портреты друзей, писал улицы, уродливые здания, свадебные кортежи, заводы в banlieue<sup>7</sup>, букеты цветов, зажатые в чьей-то руке; он писал композиции на фоне джунглей: обнаженная женщина с высокой грудью и могучими бедрами верхом на рычащем тигре среди сложного переплетения пальм, лиан, орхидей всех цветов, целого вымышленного леса, буйного и диковинного, населенного змеями, прыгающими обезьянами, сцепившимися друг с другом, словно в смертельной схватке, – работа над подобными темами бросала его то в жар, то в холод, и, чтобы не потерять сознание, он, несмотря на боязнь простуды, распахивал настежь окно.

Соседи пожимали плечами и улыбались, глядя на эти произведения, выставившиеся для продажи по цене пятнадцать франков за штуку в витрине его приятельницы мадам Юфнагель, почтенной вдовы, которая держала магазин дамских шляп на той же улице, через несколько домов, и к которой он питал вполне благопристойное чувство уважения. Если не считать Наполеона Кампо, торговца красками, который забирал картины в уплату за материалы, выданные Пейра, – судя по слухам, на чердаке у Кампо скопилось немало всякого хлама, вышедшего из-под кисти голодающих художников, – никто не покупал картин Жерома, они служили лишь поводом для добродушного, но неумного веселья его соседей по улице Кастель. Однако Пейра упорно продолжал писать, и, хотя частенько нуждался, все же ему удавалось кое-что подзаработать и таким образом округлить свою скудную пенсию. Помимо окарины, на которой он играл для собственного удовольствия, а также французского рожка, он имел некоторое представление о скрипке и кларнете. Это дало ему основание написать несколько объявлений, которые он, надев лучшее платье, и решил самолично распространить среди жителей своего квартала.

### Внимание!

*ЖЕРОМ ПЕЙРА, художник и музыкант,  
дает детям уроки музыки на гармонике,  
а также уроки сольфеджио.*

<sup>7</sup> Предмесье (фр.).

*По субботам – с двух до пяти.  
Быстрые успехи гарантированы.  
Родители могут присутствовать на занятиях.  
Стоимость обучения в месяц – пять франков с ученика.  
Прием учащихся ограничен.*

Летом он извлекал пользу из своего умения играть на французском рожке и каждый четверг после полудня выступал в оркестре, пленявшем слух нянек и их питомцев в саду Тюильри. А когда нужда уж очень прижимала его, он всегда мог прибегнуть к помощи своего друга детства Альфонса Биска, ныне плезанского кондитера, дородного мужчины среднего возраста, совершенно лысого, который из чисто сентиментальных побуждений – скорее в память о далеких школьных днях, проведенных в Нанте, чем в награду за те картины, что время от времени навязывал ему Пейра в уплату за его благодеяния, – всегда выручал художника в трудную минуту, дав банку паштета или кусок мясного пирога.

В своих привычках, да и во всем строе жизни Пейра – что не преминул вскоре обнаружить Стефен – был столь же необычен, столь же удивительно оригинален, как и его картины. Этот простак отличался деятельным, любознательным умом и, набравшись всяческих познаний из мудреных томов, купленных по дешевке на набережных у букинистов, частенько проявлял свою эрудицию, пускаясь в наивные рассуждения об истории, средневековой теологии или личностях, столь мало сопоставимых, как Косьма Александрийский, который в 548 году объявил, что Земля круглая, и святая Тереза Авильская, которую он, будучи атеистом, преспокойно избрал себе в покровительницы.

Несмотря на все эти эксцентричности, он был, по его излюбленному выражению, *un brave homme et un bon camarade*<sup>8</sup>. Хотя Стефен вставал рано, Пейра неизменно опережал его: ведь надо было взять молоко и свежий хлеб, которые сынишка Альфонса каждое утро оставлял у двери. По окончании их скромного завтрака Пейра надевал передник и мыл тарелки; затем, дав воды и зерен дрозду, которого он подобрал на улице с перегрызенным кошкой крылом и намеревался отпустить, когда крылышко заживет, он снаряжался на работу: взваливал на плечо мольберт и ящик с красками и, прихватив большой ржавый зонт для защиты от превратностей погоды, отправлялся пешком в какой-нибудь уединенный уголок на окраине города – в Иври, Шарантон или Пасси, где, не обращая внимания на грубое острословие прохожих и злые шутки изводивших его детей, забывал обо всем, погружаясь в таинственный экстаз творца, воспроизводящего на полотне некое божественное видение вроде железнодорожного депо, трамвая или дымоходной трубы.

А Стефен тем временем направлялся на улицу Бьевр, торопясь поскорее воспользоваться ясным северным светом, который после восхода солнца заливал сквозь прорези в свинцовой крыше мастерскую Глина. Ричард, никогда не жалевший себя, был поистине беспощаден и к Стефену, с которым обходился резко, а порой и грубо, как со школьником.

– Покажи мне, на что ты способен, – сурово говорил он. – Если через полгода я не буду доволен тобой, я верну тебя Господу Богу.

У Глина была натурщица, Анна Монтель, высокая статная брюнетка лет тридцати, похожая на сухопарую цыганку. Она и в самом деле была из румынских цыган, предки ее, по-видимому, перекочевали туда из Венгрии, однако встретил ее Глин в отдаленном уголке Северного Уэльса. Кожа у нее была грубая, и, поскольку она ходила всегда простоволосая, в черной юбке и зеленой блузе, без перчаток и без пальто, руки и щеки у нее потрескались от порывистого ветра, дувшего этой осенью с реки. Но это обветренное плоское лицо с резко очерченными глазницами и широкими скулами дышало удивительной силой. Она бесшумно передвигалась по мастерской в своих мягких домашних туфлях, с одного взгляда угадывала все

---

<sup>8</sup> Неплохой малый и хороший товарищ (фр.).



желания Глина и была самым молчаливым существом, какое когда-либо доводилось видеть Стефену. Она готова была позировать в любое время и сколько угодно, а по окончании сеанса, не говоря ни слова, выскальзывала на улицу и, вернувшись с Центрального рынка со множеством свертков, готовила на маленькой печурке гуляш или варила кофе в голубом с белыми прожилками эмалированном кофейнике с отбитым носиком, который впоследствии фигурировал на одной из самых известных картин Глина «Le café matinal»<sup>9</sup>.

Хотя Глин никогда не пытался поучать Стефена, однако неустанно требовал от него оригинальности видения, добиваясь, чтобы он отказался от привычных представлений и изображал вещи так, как он сам их видит, а не так, как на них принято смотреть или как их видят другие.

– Бери пример с Пейра! – восклицал Глин. – Каждая твоя картина должна быть твоей и ничьей больше.

– Ты так высоко ценишь Пейра?

– По-моему, он великий человек, – с глубокой убежденностью отвечал Глин. – У него есть непосредственность восприятия и оригинальность примитивиста. Сейчас над ним смеются как над старым чудаком. Но через двадцать лет люди будут драться из-за его картин.

Работали они много – и к тому же мерзли. В мастерской стоял страшный холод, и, по мере того как шли недели, становилось все холоднее, ибо Глин придерживался спартанской теории, что человек не может создать ничего путного в комфортабельных условиях. Стефен больше не думал, что живопись – это сладостное, пленительное искусство. Никогда в жизни у него не было более сурового режима. А Глин требовал все большего и большего самопожертвования.

Однажды, когда у Стефена отчаянно кружилась голова и ему казалось, что он больше не выдержит, Глин, глубоко вздохнув, отбросил палитру.

– Перерыв! – объявил он. – А то у меня сейчас череп расколется. Ты умеешь ездить на велосипеде?

– Конечно.

– Наверно, объезжал прихожан вокруг Оксфорда? Со скоростью четыре мили в час?

– Думаю, что смог бы показать и лучшее время.

– Прекрасно. – Глин широко улыбнулся. – Посмотрим, из какого теста ты сделан.

Они вышли из мастерской и направились через улицу в единственный в квартале велосипедный магазин, который держал Пьер Вертело, старый гонщик, ныне ни на что не годный из-за больного сердца, испорченного пристрастием к перно, но в свое время занявший третье место в велотуре вокруг Франции. Это было маленькое захудалое заведение, где до самого потолка громоздились велосипеды, а за магазином находилась ремонтная мастерская. Они вошли. Внутри никого не оказалось.

– Пьер! – крикнул Глин и постучал по прилавку.

Из заднего помещения вышла девушка лет девятнадцати, невысокая, крепкая, в черном свитере, черной плиссированной юбке и черных туфлях без каблука, надетых на босу ногу.

– Ах это ты, – сказал Глин.

– А то кто же еще? Царица Савская, что ли?

– Почему ты не в цирке?

– Он закрылся на зиму. – Она говорила отрывисто, без всякого кокетства, уперев руки в бока, широко расставив ноги.

– А где твой папаша?

– Дрыхнет.

---

<sup>9</sup> «Утренний кофе» (фр.).

– Гм... Стефен, это Эмми Вертело. – Она со скучающим видом перевела взгляд на второго посетителя, а Глин тем временем продолжал: – Нам нужно на денек две машины. Только хорошие.

– У нас все хорошие. Возьмите вон те две, что с краю.

Пока Глин спускал велосипеды, подвешенные на блоках, Стефен наблюдал за тем, как девушка сняла с крюка сначала один из них, потом другой и со знанием дела покрутила колеса. У нее было бледное хмурое лицо, низкий, слегка выпуклый лоб, густые брови и большой тонкогубый рот. Нос у нее был хорошей формы, но самый кончик его по-простонародному чуть задирался кверху. Если бы не девичья грудь, плотно обтянутая свитером, она походила бы на хорошо сложенного мальчишку. Неожиданно она обернулась и поймала на себе взгляд Стефена. Он почувствовал, что краснеет, а она с оскорбительной бесцеремонностью в упор посмотрела на него холодными, равнодушными глазами. Тем временем Глин подкатил оба велосипеда к двери.

– Не хочешь проехаться с нами, Эмми?

– Да разве я могу? А кто лавку сторожить будет? Мой старый пьянчужка, что ли?

– Ну тогда в другой раз покатаемся. Мы вернемся засветло.

Стефен вслед за Глином вышел на улицу. Они сели на машины и, пригнувшись к низко посаженному рулю, покатили – Глин впереди, Стефен сзади – через Сен-Жерменское предместье к Версальской заставе. Выехав из города, они помчались по гладкой прямой дороге к Виль-д'Аврэ. Глин, время от времени оглядываясь, неся с головокружительной быстротой. Мимо промелькнули Сент-Апполин, Поншартрен и Мэль, вот и Жюзые остался позади, а затем и Оржваль. Наконец, когда они сделали около тридцати километров по кругу, Глин внезапно остановился у кабачка в деревеньке Лувсьен. Тяжело дыша, он критическим взглядом окинул Стефена, потного, запыленного, запыхавшегося, и улыбнулся.

– Недурно, мой мальчик. Ты не из тех, кто сдается, да? Это качество может тебе пригодиться в жизни. Зайдем и выпьем по кружечке пива.

В темном низком помещении им подали холодное пиво, которое явилось сущей отрадой для их пересохших глоток. Глин обсосал пену с бороды и вздохнул.

– Недурные места для живописи вокруг Лувсьена, – мечтательно заметил он. – Ренуар и Писсарро любили здесь бывать. Сислей тоже. Но в следующий раз мы поедем еще дальше. Возьмем с собой Эмми: вот кто может задать темп. Она здорово гоняет.

Воспоминание о встрече в велосипедном магазине все еще уязвляло Стефена. И он сухо сказал:

– Эта молодая особа показалась мне пренеприятной.

Глин звонко расхохотался.

– Умерьте свои чувства, святой отец. – И, помолчав, добавил: – По правде говоря, она обыкновенная потаскушка... твой приятель Честер мог бы просветить тебя на этот счет... Но – твердый орешек. Она фактически выросла среди гонщиков, колесивших по Франции. Да и сейчас окружает себя молодежью из этой среды. А полгода проводит в турне с труппой Пэроса.

– Пэроса?

– Ну да, Адольфа Пэроса. В свое время были братья Пэрос. Но один из них умер. А с Адольфом я встречался. Очень приятный малый. И цирк у него вполне приличный. Эмми делает там трюковой номер на велосипеде. Говорят, очень опасный. Она много зарабатывает и держится независимо. Нашего брата она ни во что не ставит: знает, что у нас нет ни гроша за душой. Но она невероятно тщеславна и хочет, чтобы я написал ее.

– И ты собираешься?

– Ни в коем случае. Меня не интересуют подонки. Но мне нравится дразнить ее. Она все-таки милый чертенок. – Он допил пиво. – Поехали. Поработаем ногами!

Они медленно покатали обратно в вечерней прохладе. Глин был в преотличном настроении, нервы его успокоились, он то и дело напевал валлийские народные песни и был вполне готов к завтрашнему трудовому дню.

Возле велосипедного магазина он взглянул на часы и присвистнул.

– Я опаздываю. У меня назначена встреча с Анной. Будь другом, сдай за меня велосипед. – Он отдал машину Стефену и убежал.

Стефен не без труда вкатил оба велосипеда в магазин. Внутри было по-прежнему пусто. Он постучал по прилавку, затем, поскольку никто не появлялся, толкнул дверь, которая вела в заднее помещение, и в маленьком темном коридорчике налетел прямо на Эмми, направлявшуюся в магазин. Дверь позади Стефена захлопнулась, и они очутились в полутемном, узком, как стенной шкаф, проходе. Растерявшись, Стефен не сразу обрел дар речи, он почувствовал только, что сердце у него застучало, как молот. Эмми стояла рядом, так близко, что он ощущал исходившее от нее тепло, и у него перехватило дух от вдруг нахлынувшего непонятного волнения. А она без малейшего удивления или смущения наблюдала за ним, и вид у нее был такой, точно она понимает, в каком он смятении. Она холодно, иронически улыбнулась.

– *Que veux-tu?*<sup>10</sup>

Двусмысленность вопроса обожгла его, как огнем. В застывшей тишине он услышал смятенное громкое биение своего сердца. И каким-то чужим, неестественным голосом ответил:

– Я хотел сказать вам... я привез велосипеды.

– Хорошо покатались? – Слегка прищурившись, она продолжала наблюдать за ним все понимающим взглядом, забавляясь его волнением, но не разделяя его.

– Да... благодарю вас.

Снова молчание. Она продолжала стоять неподвижно. Наконец, сделав усилие, он заставил себя дотянуться до двери и распахнул ее.

– Надеюсь, – пробормотал он, запинаясь, точно школьник, – надеюсь, мы еще увидимся.

Пристыженный и усталый, он тщетно пытался выкинуть из головы мысль о ней.

Однако она все больше завладевала его помыслами с каждой новой встречей, а поводы для этого участились, поскольку с наступлением весны Глин стал настаивать на регулярных еженедельных прогулках. Эмми притягивала и в то же время отталкивала Стефена. Ему хотелось попросить ее позировать, но всякий раз не хватало на это духу. Все как-то не было подходящего случая. Она оставалась для него загадкой, смысл которой он искал и не мог найти, – где-то в глубине сознания это раздражало его и злило.

А время летело с убийственной быстротой. Дни стали длиннее, наступила пора вторичного цветения каштанов, и Стефен вдруг понял, что предоставленный ему год отсрочки подходит к концу. В письмах, приходивших из Стилутера – от отца, от Дэви, от Клэр, – все чаще и чаще поднимался вопрос о его возвращении: они ждали его, больше того – все настойчивее требовали, чтобы он вернулся.

Настал июль; раскаленное небо низко нависло над городом, и стало нечем дышать. Глин, ненавидевший жару, потерпел недельки две, затем вдруг решил уехать с Анной в Бретань, побродить там и написать крестный путь на Голгофу. Ламберты уже отбыли в Ла-Боль, а теперь двинулся за ними и Честер. Даже Пейра стал поговаривать о том, чтобы бежать из Парижа. Срок аренды квартиры истекал в августе, и он решил съездить в Овернь к своему дяде.

И Ричард, и Пейра уговаривали Стефена поехать с ними, но он не мог принять их приглашение: в последнем своем письме, выдержанном в суровых тонах, настоятель выражал надежду, что Стефен «не отступится от данного им слова» и не позволит себе забыть о нем ради «парижских увеселений и забав».

---

<sup>10</sup> Чего ты хочешь? (*фр.*)

Прочитав это письмо, Стефен швырнул в угол кисти и вышел на улицу. Он мог бы пойти в Булонский лес, где всегда есть тень под деревьями, но был слишком раздражен и подавлен и, следовательно, не в настроении для такой прогулки. Вместо этого, невзирая на одолевавшую его усталость и душевную опустошенность, он пошел бродить по городу, вышагивая милю за милей по унылым улицам. Бесконечные магазины и кафе – сначала большие, потом все меньше и меньше. И почти всюду – пустота. В одном из кафе, где не было ни единого посетителя, официант спал за столиком, уронив голову на скрещенные руки. Стефен проходил под железнодорожными мостами, мимо извивавшихся, как змеи, железнодорожных путей, пересекал каналы, наконец миновал заставу и остановился среди пыльных пустырей, окружающих Париж. Он был в испарине и все твердил про себя: «Боже мой, боже, что за жизнь... А отец еще думает, что дни мои состоят из сплошных удовольствий!»

По пути назад он зашел на плезианскую почту и послал телеграмму:

ДЕСМОНДУ СТИЛУОТЕРСКИЙ ПРИХОД САССЕКС ВЫЕЗЖАЮ  
УТРЕННИМ ПАРОХОДОМ ЗАВТРА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ИЮЛЯ СТЕФЕН

## Глава X

Ничто, думал Стефен, не способно сравниться с той радостью, какую испытываешь при посещении любимых, знакомых мест, которые успел в какой-то мере забыть и которые кажутся теперь еще прекраснее, чем прежде. Растянувшись на поросшем травой берегу Чиллинхемского озера под теплым послеполуденным солнышком, Стефен не столько удил сам, сколько наблюдал за тем, как Дэви немного неумело, но с упорством, обещающим принести свои плоды, забрасывает блесну в цветущие лилии, под прохладными листьями которых притаилась в прозрачной воде щука. Чистый воздух был пронизан солнцем; куда ни кинешь взгляд, всюду дикие цветы, деревья стоят в пышном нежно-зеленом уборе; среди вереска цветет розовый шиповник, и его тонкий аромат смешивается с пьянящим запахом лабазника. Над головой летают голуби, а издали, с фермы Броутоновского поместья, доносится кудахтанье кур и пение петухов.

Стефен никак не мог привыкнуть к мысли, что он уже целых две недели дома. С того момента, когда на станции в Халборо его встретили Дэви и Каролина – весьма тактичный шаг со стороны его родителей, – все шло настолько гладко, что он просто не заметил, как пролетело время. Как-никак, хорошо быть дома! Если бы только они не относились к нему как к блудному сыну, которого простили и которого теперь надо любой ценой завоевать с помощью доброты. Завтрак ему приносили в постель, причем на подносе лежал еще не разрезанный номер «Таймс», который прежде обычно читал сначала отец, – так делалось до тех пор, пока Стефен не заявил, что предпочитает пить кофе внизу, вместе с Дэви. На завтрак и обед подавались его любимые блюда – Бизли вовсю усердствовала на кухне, а Моулд приносил в корзинках отборные фрукты. Все желания Стефена мгновенно исполнялись, ему то и дело предлагали разные дальние прогулки, – словом, родные объединенными усилиями дипломатично пытались обезоружить его.

О его занятиях живописью никто не говорил – интерес к ней умер, после того как в первый же вечер он по просьбе настоятеля показал свои картины. Сдвинув брови, улыбаясь и в то же время хмурясь, Стефен вспоминал, как добросовестно, но тщетно пытался отец одобрить его работу: он был явно озадачен увиденным, и его изумленный взор с особенным вниманием задержался на сценке, которая изображала женщину, вешающую белье на заднем дворе поместья в ветреный день.

– Дорогой мой мальчик... ты считаешь это... прекрасным?

– Да. Это моя любимая работа.

– Ничего не понимаю. Ну зачем, скажи на милость, нужна тебе эта веревка с бельем?

– Но здесь такая игра красок, отец... Унылый фон, и на нем – старая женщина в серо-черном платье...

Стефен попытался объяснить, что лежало в основе его идеи: краски не следует смешивать, их надо накладывать на полотно прямо шпателем. Однако это ничуть не помогло развеять изумление и недоверие настоятеля. Последовало долгое молчание. Наконец, взглянув еще раз на картину, отец Стефена с неуверенным и в то же время испытующим видом повернулся к нему.

– Очевидно, специалист мог бы оценить это.

– Думаю, что да.

С тех пор порицание сменилось усиленной предупредительностью. Каролина, необычайно подобревшая, утюжила ему костюмы, пришивала пуговицы к рубашкам, а его мать внезапно решила покинуть свой уединенный причудливый мирок и, отыскав большой клубок шерсти, из которого собиралась вязать ему носки, когда он был еще в Оксфорде, заявила, что тут же примется за дело.

Жизнь они вели в общем довольно замкнутую; Стефен не без облегчения узнал, что генерал Десмонд с супругой и Джоффри отбыли в Шотландию на охоту, но сегодня, услышав, что Стефен и Дэви будут на Чиллинхемском озере, леди Броутон пригласила их на чай. И вот, взглянув на солнце, уже опускавшееся за гряды холмов, Стефен решил, что пора в путь. Он поднялся на ноги, прошел по берегу и остановился позади брата, который хоть и устало, но все так же упорно продолжал забрасывать удочку в безответные воды. Улов пока был весьма скудный – три окуня, таких маленьких, что ими едва ли можно было насытить приходскую кошку. Зная о страстной любви, какую питал Дэви к этому, а также любому другому виду спорта на свежем воздухе, – чувство, прямо противоположное его собственному безразличию и такое трогательное, принимая во внимание хрупкое сложение мальчика и его отнюдь не крепкое здоровье, – Стефену очень хотелось, чтобы какая-нибудь большая, стоящая рыба вроде форели попалась брату на крючок. Он легко мог представить себе, какую радость и гордость вызвала бы подобная добыча.

Но хотя он терпеливо ждал, время от времени каким-нибудь словом подбадривая брата, такой удачи не последовало. Стефен с грустью подумал, что Дэви никогда не везло. И пока младший брат сматывал леску, он обнял его за плечи и, расхваливая его сноровку, понося неблагоприятные условия – жару и яркое солнце, – наконец, превознося величину и достоинства трех маленьких рыбок, свернувшихся сухим комочком на дне корзины, добился того, что Дэви снова обрел хорошее настроение.

– По-моему, у меня все-таки дело теперь куда лучше, – с надеждой заметил Дэви. – Я очень старался. И мне тоже кажется, что эти рыбки не так уж плохи. Как по-твоему, они вкусные?

– Превосходные.

– Правда... они немножко мелковаты.

– Чем мельче, тем слаще, – изрек Стефен.

Они пошли луговинами, решив избежать длинной дороги, огибающей Лисью заставу, и, поскольку было сухо, пройти по поросшей осокой низине в Броутоновский заповедник; всю дорогу Дэви со свойственной ему живостью весело болтал. За последнее время он очень вырос, так что казался старше своих четырнадцати лет, стал долговязым, как все подростки, и от чрезмерной нервозности двигался как бы рывками. Однако худощавое лицо его приобрело более спокойное выражение, а припадки, как Стефен узнал от Каролины, хотя были по-прежнему сильными, повторялись гораздо реже. Снисходительно прислушиваясь к болтовне Дэви, наблюдая игру света на его тонко очерченном лице, Стефен чувствовал, как в нем растет огромная любовь к брату. Эти две недели они почти не расставались.

Выйдя из лесу, они перелезли через железную ограду, окружавшую заповедник, где мирно паслось стадо, и вскоре вышли на аллею, которая, обогнув аккуратно разбитый сад за лужайкой, привела их к самому дому, массивному творению Викторианской эпохи из красного песчаника, перегруженному башнями и башенками, – это позволяло леди Броутон с гордостью утверждать, что у нее самый высокий дом в Сассексе.

Она сама и приняла братьев, полулежа в шезлонге у открытой двери на балкон в южной гостиной, и, извинившись перед ними за эту кажущуюся леность (доктор в последнее время стал удивительно строг в своих предписаниях), так радушно и тепло приветствовала их, что они сразу почувствовали себя как дома.

– Вот ты и вернулся, Стефен. – Задержав его руку в своей, она оглядела молодого человека с головы до ног. – Сколько прекрасного ты, должно быть, увидел и узнал. Жаль, что ты не отпустил себе бородку. Однако Париж, мне кажется, пошел тебе на пользу. Можешь поцеловать мне руку, как настоящий француз?

– Я не учился этому искусству.

– Как жаль! – Она улыбнулась. – Правда, Дэви?

– Мне будет очень неприятно, леди Броутон, если из-за этого Стефену придется туда вернуться.

– Совершенно справедливо. Видишь, Стефен, как мы все рады, что ты снова дома. В доказательство я напою тебя чаем с сассекским тортом. Помнишь, как ты любил его, когда тебе было столько лет, сколько сейчас Дэви?

– Конечно помню. Я и сейчас его обожаю. И Дэви тоже.

Леди Броутон улыбнулась и продолжала любезно беседовать с ними о разных пустяках. Однако, слушая ее, Стефен почувствовал, что перед ним уже не та леди Броутон, какую он знал раньше. Ему всегда нравилась эта низенькая, румяная, отнюдь не утонченная женщина, от которой так и веяло энергией, добропорядочностью и глубоким здравым смыслом. Тем неприятнее было ему сейчас видеть ее такой вялой, страдающей одышкой, с багровыми пятнами румянца на и без того ярких щеках.

– Клэр скоро придет, – сообщила она. – Я уверена, что она хочет появиться перед тобой в широкополой шляпе и с корзиной роз – совсем как на картине Гейнсборо.

Не успела леди Броутон промолвить это, как вошла Клэр, но не из сада и без цветов; шляпы на ней тоже не было, и выглядела она в своем полотняном платье с квадратным вырезом, красновато-коричневом – под стать золотисто-рыжим волосам, – не как девушка, сошедшая с картины Гейнсборо, а скорее как модель Берн-Джонса. Хотя Стефен, конечно, об этом уже не помнил, но однажды он сказал ей, что этот теплый цвет – излюбленный тон прерафаэлитов – очень ей к лицу.

Держалась она с поразительным самообладанием. Никто бы в жизни не догадался, как сильно билось у нее сердце, как давно ждала она этой минуты.

– Клэр! – Стефен шагнул к ней.

– Как приятно видеть вас здесь! – Она улыбнулась. – И тебя тоже, Дэви. – Она от души надеялась, что легкий румянец, вдруг прихлынувший к ее щекам, пройдет незамеченным. Вновь увидеть Стефена, почувствовать пожатие его руки оказалось испытанием более серьезным, чем она предполагала.

Тем временем подали чай – не какое-нибудь скромное угощение с сухим печеньем и тоненькими кусочками хлеба, намазанного маслом, а настоящее солидное питание для проголодавшихся школьников: передвижной столик красного дерева был уставлен тарелками с вареными яйцами, пышками, сэндвичами и тортом с земляникой и сбитыми сассекскими сливками.

– Мы решили, что вы, наверное, проголодаетесь после рыбной ловли, – заметила Клэр, глядя на Дэви.

– Мы и в самом деле проголодались, – радостно признался он. – Мы лишь слегка позавтракали. – Он взял из рук Клэр чашку и любезно, хотя и не без труда, отнес ее леди Броутон, а потом уже сел сам.

– Спасибо, Дэви. – Желая развеять легкую принужденность, возникшую между молодыми людьми, леди Броутон лукаво спросила: – А тебе не кажется, Клэр, что Стефен стал совсем парижанином?

– Пожалуй, он немножко похудел. – Какой идиотский ответ. Но он приехал, и это сознание было столь сладостным и волнующим, что глаза Клэр так и лучились.

– Не думаю, чтобы французская пища была уж очень питательна, – самым серьезным тоном заметил Дэви. – Меня, во всяком случае, едва ли могли бы прельстить всякие там улитки, лягушачьи ножки и прочее.

Все рассмеялись и сразу почувствовали себя непринужденно и весело. Дэви, словно желая доказать преимущество англосаксонского стола, съел два куска торта, затем принялся оживленно обсуждать с Клэр, как лучше ловить щуку, в результате чего оба пришли к заключению, что по такой погоде, как сегодня, «майская муха» была бы куда лучше блесны.

– По-моему, у нас есть несколько «майских мух» в бильярдной, – немного подумав, заметила Клэр. – Хочешь, я тебе дам?

– В самом деле? – пробормотал Дэви. – А они вам самой не нужны? То есть я хочу сказать... вы это серьезно?

– Конечно. Они никому не нужны. Пойдем посмотрим.

Извинившись, Дэви поспешно поднялся, открыл дверь, пропустил Клэр вперед и вышел вслед за нею.

После их ухода леди Броутон задумчиво посмотрела на Стефена, которого всегда искренне любила, больше того: которым восхищалась. Ее нимало не огорчало то, что он расстался с церковью: она считала, что у Стефена слишком чувствительная, застенчивая и страстная натура и он не создан быть сельским священником. Не очень смущало ее и то, что он в последнее время увлекся живописью. Она считала это преходящей фантазией, временным увлечением, несомненно объяснявшимся некоей наследственной странностью (она хорошо помнила, как девочкой приходила в ужас от эксцентрических акварелей достойного батюшки миссис Десмонд), а вовсе не испорченностью, ибо в основе своей Стефен – натура превосходная. Однако не столько собственное отношение к Стефену, сколько чувства Клэр, которые не оставались для нее тайной, побуждали леди Броутон завести с ним – в пределах, дозволяемых хорошим тоном, – разговор на волновавшую ее тему. В последние месяцы она с болью в душе стала замечать, что дочь ее ходит с безразличным, отсутствующим видом, и не без опасения наблюдала за тем, как Клэр иной раз пытается рассеяться и найти забвение в несвойственных ей развлечениях. А тут еще Джоффри Десмонд что-то очень зачастил к ним – леди Броутон положительно его не выносила, хотя бы за его манеру говорить, растягивая слова. Она считала Джоффри избалованным, себялюбивым, чванным и очень заурядным юнцом и, поскольку сама была замужем за человеком, чья самовлюбленная ограниченность отравляла ей жизнь на протяжении более двадцати лет, не желала такой участи для Клэр.

Должно быть, эти мысли и побудили ее спросить:

– Ты еще не видел своего двоюродного брата?

– Нет, все обитатели Симлы сейчас в Шотландии.

– Джоффри часто упражнялся у нас здесь в стрельбе.

– Это он любит. А охотиться он ходил?

– Они с Клэр немало побродили по холмам. Они вообще часто бывают вместе. На днях он, по-моему, возил ее в Брукленд... на мотогонки.

– Я не знал, что Клэр любит такие зрелища.

– Я и не думаю, чтобы она любила... просто она не умеет отказывать. – Леди Броутон улыбнулась. Помолчав немного, она слегка наклонилась к нему и продолжала доверительным, но нарочито небрежным тоном: – Она немножко беспокоит меня, Стефен. Такая замкнутая – вся в себе. Любит людей, а друзей заводить не умеет. Она будет счастлива лишь в том случае, если правильно выберет себе спутника жизни – словом, хорошего мужа. Не мне говорить тебе, что я не всегда буду подле нее. Очень скоро Клэр может остаться одна. И хотя она любит наш дом, управлять им нелегко, и это может оказаться ей не по плечу.

Леди Броутон не сказала ничего определенного, ничего, что хоть в какой-то степени могло поставить Стефена в неловкое положение, однако было совершенно ясно, зачем она завела этот разговор. И прежде чем он успел что-либо ответить, она продолжала, положив свою слегка опухшую, со вздувшимися венами руку на его плечо:

– Мне кажется, ты мудро поступил, съездив проветриться в Париж. И твой превосходный отец поступил не менее мудро, позволив тебе уехать. В мое время молодые люди всегда совершали подобные турне. Это рассматривалось не только как духовная потребность, а как средство выбить из человека юношескую дурь. Молодые люди возвращались остепенившимися, женились и жили добрыми помещиками. На этот путь следует ступить и тебе, Стефен.



– А что, если... – Слегка покраснев, он избегал смотреть на свою собеседницу. – А что, если я должен снова ехать за границу?

– Зачем?

– Чтобы продолжать учиться... и работать.

– В какой же области?

– Как художник.

Леди Броутон покачала головой и снисходительно потрепала его по руке.

– Дорогой мой мальчик, когда я была молода и имела склонность к романтике, мне казалось, что я могу писать стихи, да я их и писала, к стыду своему. Однако все это перебродило во мне. Перебродит и у тебя.

Считая разговор оконченным, она откинулась на спинку шезлонга. Прежде чем Стефен успел ей что-либо возразить, в комнату вошел Дэви в сопровождении Клэр, неся металлическую коробку с японским рисунком.

– Посмотри, Стефен, что дала мне Клэр. Какие замечательные наживки, а также сколько катушек и лесок. А коробочка, которая не боится воды!

– Не забудь, – улыбнулась Клэр, – теперь ты обязан наловить нам уйму рыбы.

– Еще бы, с таким-то снаряжением... Эх, если бы занятия не начинались так скоро.

– А разве зима – не лучшее время для ловли щуки?

– Да, конечно. Я теперь только и буду ждать рождественских каникул.

– Смотри приходи к нам чай пить, когда будешь приезжать на Чиллинхемское озеро.

Стефен поднялся, чтобы откланяться. Он был тронут отношением Клэр к Дэви, ее спокойной предупредительностью, проявлявшейся, несмотря на сдержанность, в каждом слове и жесте. Последние отблески заходящего солнца золотили длинную комнату с колоннами, такую обжитую и приятную, поражавшую не столько изысканностью обстановки, сколько уютом, где все так и дышало стариной. Сквозь окна виднелись две прелестные лужайки под сенью огромного кедра, уже начинавшие тонуть в вечернем сумраке, за ними – буковые леса, красные пятнышки крыш чуть повыше, а дальше, до самого горизонта, – зеленое море холмов Даунс.

По дороге домой Дэви заметил, что брат его как-то необычно молчалив. Посмотрев на него, Дэви сказал:

– Красиво у них в поместье. Тебе не хотелось бы бывать там чаще?

Но Стефен ничего не ответил.

## Глава XI

Был четверг. Семья настоятеля сидела за столом: завтрак подходил к концу. Все чувствовали себя довольно принужденно, держались натянуто; Дэви, уже облачившийся в форму, вечером уезжал к себе в школу. Однако, посмотрев на окружающих, Стефен заметил, что они находятся в состоянии такого нервного напряжения, какое едва ли можно объяснить указанным обстоятельством, – в воздухе чувствовался тайный сговор, все чего-то ждали. За последние две недели под прикрытием родственной любви на его волю то и дело исподволь оказывалось давление, и сейчас он как-то особенно остро ощущал это.

Настоятель, который за истекшие пять минут уже трижды смотрел на часы, снова вынул их, допил кофе и, ни на кого не глядя, заметил:

– Я случайно узнал, что мистер Мансей Питерс находится в наших краях. К сожалению, он не мог прийти ко второму завтраку, но я просил его заехать к нам днем.

– Как интересно, отец, – пробормотала Каролина, не поднимая глаз от тарелки.

– Ты имеешь в виду, – осведомилась миссис Десмонд тоном человека, задающего заранее выученный вопрос, – того самого Мансея Питерса?

– Да. Ты знаешь мистера Питерса, Стефен? – Не прислушиваясь к разговору, Стефен вырезал для Дэви фигурку из апельсиновой корки, однако, почувствовав, что отец обращается к нему, поднял на него глаза. – Это известный художник, член Королевской академии.

Последовало молчание. Потрясенный, с застывшим лицом, Стефен ждал, когда раздастся щелчок и капкан, поставленный Бертрамом, захлопнется.

– Мы подумали, что ему интересно будет взглянуть на твои картины.

Снова наступило молчание, которое поспешила нарушить Каролина, заметив с наигранной веселостью:

– Не правда ли, как удачно, Стефен? Ты сможешь выслушать его советы.

– Мне кажется, – сказала миссис Десмонд, – если память мне не изменяет, в зале водных процедур Чэлтенхема есть пейзаж работы Питерса. Он висит как раз над железистым источником. Малвернские холмы и на них – овцы. Очень жизненно.

– Он один из наших самых видных художников, – подтвердил Бертрам.

– У него ведь, кажется, есть и книга, отец? – встала Каролина. – «От Рафаэля до Рейнольдса» или что-то в этом духе.

– Он написал не одну книгу по искусству. Наиболее известная из них – «Искусство для искусства».

– Надо будет взять в библиотеке почитать, – пробормотала Каролина.

– Ты не будешь возражать, если мы покажем ему твои картины? – с неожиданной твердостью спросил настоятель, поворачиваясь к сыну. – Раз уж есть такая возможность, разумно спросить его мнение.

Стефен побелел как полотно. С минуту он молчал.

– Показывайте ему все, что хотите. Его мнение ничего не стоит.

– Что?! Да ведь Мансей Питерс – человек с именем, член Королевской академии. Он уже пятнадцать лет ежегодно выставляет свои картины.

– Ну и что же? Ничего более мертвого, более пошлого и глупого, чем его картины, я представить себе не могу.

Стефен заставил себя остановиться и умолк: ведь они могут подумать, что он завидует или боится. Повернувшись, чтобы встать из-за стола, он услышал шум колес и увидел в окно, как у входа остановилась станционная бричка. Коротенький человечек, казавшийся еще короче из-за широкополой шляпы и черного развевающегося плаща, стремительно вышел из кеба, огляделся и позвонил в колокольчик. Бертрам встал и вместе с женой и Каролиной направился

в холл. Стефен продолжал сидеть у стола – теперь он понял, что все было подготовлено заранее. Уже по одежде Питерса было ясно, что он вовсе не гостит поблизости, а специально приехал сюда, и, должно быть, небезвозмездно – он прибыл из Лондона, словно хирург, которого вытребовали к опасному больному и от диагноза которого зависит жизнь или смерть пациента.

Дружеское прикосновение к плечу отвлекло Стефена от этих мыслей. Это был Дэви.

– Не пора ли и нам пойти туда? Не волнуйся, Стефен. Я уверен, что ты выйдешь победителем.

В гостиной, первоначально имевшей квадратную форму, а теперь обезображенной викторианским окном-фонарем, выходившим на запад, на диване сидел Мансей Питерс, пухлый, гладкий, бодро-официальный – объект почтительного внимания просвещенных слушателей.

Когда Стефен вошел, он повернулся и любезно протянул ему руку.

– Это, значит, и есть молодой джентльмен? Рад с вами познакомиться, сэр.

Стефен обменялся с ним рукопожатием, убеждая себя, несмотря на противоречивые чувства, бушевавшие в его груди, что он не должен питать злобы к этому неожиданному гостю, по всей вероятности честному и почтенному человеку, следующему велениям своей совести. Однако, зная работы Питерса, которые всегда получали широкое освещение в печати и часто воспроизводились в лучших еженедельниках, – эти пейзажи, писанные грубым мазком, и битумные интерьеры, приторно-сентиментальные и дегтярно-черные по колориту, – «смесь дерьма со жженой сиеной», как называл их насмешник Глин, – Стефен не мог подавить инстинктивной антипатии, которую лишь усиливали напыщенные манеры толстяка и его самоуверенность, граничащая с нахальством и исполненная почти тошнотворного самодовольства. Он отказался от завтрака, ибо «насытил утробу», как он любил выражаться, в пульмановском вагоне-ресторане, который всегда имелся при дневном экспрессе, но после уговоров согласился выпить кофе. И вот, покачивая на колене чашку, скрестив ноги в забрызганных грязью башмаках, он принялся расспрашивать Стефена с любезной снисходительностью почтенного академика, беседующего со смущенным неофитом.

– Так, значит, вы были в Париже?

– Да, около года.

– И надеюсь, много работали в этом веселом городе? – Это было сказано не без лукавого взгляда в сторону остальных; затем, поскольку Стефен молчал, Мансей Питерс спросил: – Кто же был вашим учителем?

– Вначале Дюпре.

– Вот оно что! Какого же он мнения о вас?

– Право, не знаю. Я очень скоро ушел от него.

– Тэ-тэ-тэ, вот это было ошибкой. – И Питерс удивленно спросил: – Вы что же, хотите сказать, что большую часть времени работали без всякого руководства? Таким путем многого не достигнешь.

– Во всяком случае, я узнал, сколько нужно воли, дисциплинированности и прилежания для того, чтобы стать настоящим художником.

– Хм! Все это прекрасно. Но как насчет познаний? – Ледяной тон Стефена начал выводить Питерса из себя. – Ведь есть же непреложные истины. Я неоднократно подчеркивал это в моей книге. Вы, видимо, учились по ней.

– Признаться, нет. Я учился в Лувре.

– О, копировали! – не без раздражения воскликнул Питерс. – Это никуда не годится. Художник должен быть прежде всего самобытен.

– Однако все великие художники испытывали на себе влияние друг друга, – решительно возразил Стефен. – Рафаэль вдохновлялся Перуджино, Эль Греко – произведениями Тинторетто, Мане – полотнами Франса Хальса. Все постимпрессионисты так или иначе помогали

друг другу. Словом, перечень этот можно продлить до бесконечности. Да ведь и в вашей собственной работе, извините, есть следы влияния Лейтона и Пойнтера.

Упоминание об этих двух художниках, гремевших в Викторианскую эпоху, а теперь забытых, вызвало на лице Мансея Питерса несколько растерянное выражение, словно он не знал, считать это похвалой или оскорблением.

Миссис Десмонд с несвойственным ей тактом нарушила молчание:

– Разрешите налить вам еще кофе?

– Нет, благодарю вас. Нет. – Он вернул ей пустую чашку. – Видите ли, у меня очень мало времени, я даже задержал экипаж, и он ждет меня у дверей. Может быть, перейдем к делу?

– Извольте. – Бертрам, с опаской наблюдавший за этой стычкой двух темпераментов, подал знак Дэви, который тотчас вскочил и вышел из комнаты. Он почти сразу вернулся, неся в руках картину Стефена – вид на Сену в Пасси, – которую он поставил на стул с высокой спинкой, пододвинутый поближе к свету, как раз напротив дивана.

Приложив палец к губам, Мансей Питерс потребовал тишины и надел пенсне. Он изучал картину внимательно и долго, нагнувшись вперед, наклоняя голову то вправо, то влево, затем драматическим жестом велел Дэви убрать ее; тот поставил картину к окну и принес следующую. Для Стефена, стоявшего позади с каменным лицом и мучительно бьющимся сердцем, это испытание при его болезненной уязвимости было сущей пыткой. Он окинул взглядом свою семью: отца, сидевшего очень прямо, сложив вместе кончики пальцев, закинув ногу на ногу и от нервного напряжения покачивая ступней; Каролину, приютившуюся на низеньком стульчике подле дивана и с сосредоточенным видом, нахмурившись, то поднимавшую глаза на Питерса, то опускавшую взор долу; мать, покойно расположившуюся в кресле и мечтавшую о чем-то, не имевшем никакого отношения к происходящему; Дэвида в чистом крахмальном воротничке и темно-серой школьной форме, с гладко зачесанными назад волосами, – глаза его блестели от возбуждения, он не понимал, конечно, всего значения этой сцены, однако был глубоко уверен в конечном триумфе брата.

Но вот испытание окончено, последняя картина просмотрена.

– Ну, что скажете? – вырвалось у Бертрама.

Мансей Питерс ответил не сразу: он встал и еще раз обозрел полотна, прислоненные к полукруглому подоконнику большого окна-фонаря, словно желая исключить всякую возможность счесть его суждение поспешным или недостаточно продуманным. Одно полотно – женщина, вешающая белье, – казалось, особенно занимало его; он все снова и снова почему-то украдкой кидал взгляд на картину, словно пораженный смелостью контрастов и живостью красок. Наконец он сбросил пенсне, державшееся на муаровой ленточке, и встал в позу на ковре у камина.

– Так что же вы хотите от меня услышать?

Бертрам судорожно глотнул воздух.

– Есть ли у моего сына данные стать художником... ну, скажем... первого ранга?

– Никаких.

Воцарилась мертвая тишина. Каролина инстинктивно бросила сочувственный взгляд на брата. Настоятель потупился. А Стефен с еле уловимой улыбкой продолжал смотреть в упор на Мансея Питерса.

– Конечно, – заговорил тот, – я мог бы быть более вежливым. Но, насколько я понимаю, вы хотите знать правду. А я в этих полотнах, которые написаны, пожалуй, не без известного, правда грубого, блеска, но зато и без всякого учета наших великих традиций в живописи, традиций благопристойности и строгости, вижу только повод... – он передернул плечами, – повод для сочувствия и огорчения.

– В таком случае, – медленно произнес Бертрам, словно желая получить окончательное подтверждение своим мыслям, – если бы... если бы они, скажем... были представлены на конкурс в Академию, вы полагаете, они были бы отвергнуты?

– Мой дорогой сэр, будучи членом выставочной комиссии, я не только полагаю. Я убежден. Поверьте, мне тяжело разрушать ваши надежды. Если ваш сын будет заниматься этим между прочим... от нечего делать... пусть занимается. Но профессионально... ах, мой дорогой сэр, живопись для нас, которые живут ею, – это жестокое искусство. Оно не потерпит неудач.

Бертрам исподтишка сочувственно посмотрел на сына: он, видимо, ждал, что тот станет возражать, по крайней мере скажет что-то в защиту своей работы. Но Стефен все с той же еле уловимой улыбкой, все с тем же гордым безразличием продолжал молчать.

– А теперь, если позволите... – сказал Питерс, кланяясь.

Настоятель поднялся.

– Мы очень благодарны вам... несмотря на то что ваш приговор был столь неблагоприятным.

Мансей Питерс снова поклонился, и, когда он с несколько удрученным, но любезным видом покидал комнату, Бертрам, невнятно пробормотав извинения, сунул ему в руку конверт, который тот принял, даже не взглянув, – все это было проделано так ловко, что никто ничего не заметил, кроме Стефена. Вскоре послышался шум отъезжающего экипажа. Профессор отбыл.

Видимо, желая вывести не столько себя, сколько своих домашних из затруднительного положения, Стефен вышел на улицу. Перед домом, с непокрытой головой, прохаживался взад и вперед настоятель. Он тотчас взял сына под руку, сочувственно сжал ему локоть и, пройдясь несколько раз по мощенной плитами подъездной аллее, заметил:

– Мне надо сходить в церковь. Ты не проводишь меня?

Они пошли вместе, и Бертрам заговорил угрюмо, нимало не пытаясь оправдаться перед сыном:

– Это было мучительным испытанием для тебя, Стефен, и не менее мучительным для всех нас. Но мне необходимо было знать правду. Надеюсь, ты не осудишь меня за это.

– Конечно нет. – Спокойствие его тона поразило Бертрама, но он тотчас понял, что оно объясняется нежеланием сына разговаривать на эту тему.

– Ты мужественно принял приговор, Стефен, – как настоящий Десмонд. Я опасался, что ты можешь рассердиться на меня за то, что я без всякого предупреждения устроил этот экзамен. Но ведь если бы я сказал тебе заранее, ты бы мог и отказаться...

– Да, вероятно, я бы отказался.

– Надеюсь, ты понимаешь, что никто не влиял на Мансея Питерса и что он высказал свое собственное мнение?

– Я в этом убежден. Наше маленькое препирательство вначале, конечно, взъерошило ему перышки. Но в одном я не сомневаюсь: для него мои картины хуже отравы.

– Ах, бедный мой мальчик, – сочувственно пробормотал настоятель.

Тут они вошли в церковь, и Бертрам, остановившись в алтаре, у двери в ризницу, привычным жестом положил руку на гробницу с изваянием крестоносца и повернулся к сыну.

– Теперь, во всяком случае, все ясно... и ничто не мешает тебе вернуться в лоно церкви. Я не намерен подгонять тебя. Есть, конечно, одна трудность – это, если угодно, отправление службы. Тем не менее, – он посмотрел вокруг, – твое настоящее место здесь, Стефен.

Стефен откликнулся не сразу.

– Боюсь, что ты не понимаешь. Я не собираюсь бросать живопись.

– То есть как это не собираешься?

– А так. Я твердо решил посвятить свою жизнь искусству.

– Но ты ведь только что слышал мнение... совершенно уничтожающее... мнение знатока.

– Этого идиота и ничтожества... снедаемого завистью! То, что он разнес в пух и прах мою работу, было величайшей похвалой, какую он только мог меня наградить.

– Да ты с ума сошел! – Гнев и испуг залили яркой краской лицо Бертрама. – Он один из лучших художников Англии, его даже прочат в президенты Королевской академии.

– Ты не понимаешь, отец. – Несмотря на внутреннее напряжение, читавшееся на лице Стефена, он почти улыбался. – Питерс не умеет писать обыденную жизнь. Его картины – набившая оскомину сентиментальная пошлятина, в них нет ничего оригинального. Он преуспел только благодаря своей убийственной посредственности. Если хочешь знать, даже этот старый дурак Дюпре с его «*reinture léchée*»<sup>11</sup> был более терпим. Неужели тебя не тошнило от его ужасающих штампов, его напыщенности, его пухленьких ручек? Посмотри, как у него развит стадный инстинкт. А подлинный художник всегда идет своим особым путем.

Лицо Бертрама во время этой речи, показавшейся ему пустой мальчишеской болтовней, постепенно становилось все жестче. Он заставил себя подавить боль, вспыхнувшую в груди, и огромное желание обнять сына.

– Для любого нормального человека это звучало вполне убедительно. Ты должен принять его приговор.

– Нет.

– Я настаиваю.

– Я имею право сам распорядиться своей судьбой.

– Нет, не имеешь, если ты решил погубить себя.

И тот и другой говорили, не повышая голоса. Настоятель был очень бледен, но он все время в упор смотрел на сына. Под его взволнованностью таилась твердость, которой раньше Стефен у него не замечал.

– Говоря по справедливости, разве ты не обязан возместить мне чем-то за все, что я для тебя сделал? Ты, конечно, презираешь такую грязь, как деньги. Однако я потратил на твое обучение – лучшее, какое только может пожелать сын любого отца, – изрядную сумму, которую мне нелегко было изыскать. Сейчас у нас куда меньше денег, чем было раньше, и мне стоит большого труда поддерживать в Стилиутере тот уровень жизни, к которому мы привыкли. Я все время надеялся, что у меня не будет надобности делать тот шаг, на который я вынужден сейчас пойти. Тем не менее ради твоего же благополучия я хочу, чтобы ты как следует все взвесил. С этого часа ты не получаешь от меня ни гроша. А без денег ты, боюсь, едва ли сможешь заниматься своей живописью.

В маленькой церкви воцарилась звенящая тишина. Стефен опустил глаза и долго смотрел на каменное изваяние своего предка, который в полутьме, казалось, цинично улыбался ему. Вид меча, огромных латных рукавиц привел ему на память фразу из книжки, которую он читал в детстве: «Железная рука в бархатной перчатке». Он вздохнул.

– Хорошо, отец, будем считать вопрос решенным.

Бертрам взял из ризницы требник – его рука так дрожала, что он едва не уронил книгу и вынужден был прижать ее к груди. В полном молчании отец и сын покинули церковь.

Весь остаток дня Стефен был образцом любезности и немало порадовал домашних своей общительностью и живостью. В шесть часов он заявил, что поедет провожать Дэви на станцию, посадил его там в поезд и весело и дружелюбно пожелал счастливого пути. Но как только он отвернулся от вагона, лицо его приняло совсем другое выражение; подойдя к извозчичьей стоянке, он взял свой чемодан, который заблаговременно спрятал среди пожитков Дэви и потом оставил на хранение у извозчика. Взглянув на расписание, висевшее у кассы, он увидел, что поезд в Дувр отправляется через час. Он купил билет и стал ждать.

---

<sup>11</sup> «Зализанной живописью» (фр.).

## Часть вторая

### Глава I

Дувр под дождем был похож на замызганный черный ход, и казалось, что через него тайком ускользают из Англии. Лишь только почтовый пароходик, курсирующий через Ла-Манш, покинул закопченную гавань, и тотчас берег с его грязными, слякотными улицами, желтыми домиками, облепившими склоны холма, и мертвенно-серыми глинистыми утесами растаял, скрылся за серой пеленой дождя.

Внизу тесный трюм четвертого класса был битком набит пассажирами, и Стефен, выбравшись из этой жары, толчеи и атмосферы шумной общительности, возвратился на залитую дождем, заваленную канатами палубу. На носу не было ни души, и он остановился тут, стараясь укрыться от непогоды за лебедкой, покрытой брезентовым чехлом. Горечь и печаль переполняли его душу, и он стоял в оцепенении, тупо глядя на расплывающиеся в тумане очертания берега.

Наконец, согнувшись, он присел на лебедку и, не обращая внимания на качку и словно не замечая ветра и соленых брызг, залетавших в его ненадежное укрытие, вытащил из кармана альбом для эскизов. Он сделал это непроизвольно – движение было как вырвавшийся из груди стон. И все же, лишь только его карандаш коснулся топорщившегося от ветра листка бумаги, в то же мгновение все было забыто, и в альбоме с лихорадочной быстротой стали возникать мимолетные видения: огромные, зловещие валы, исполненные таинственной жизни, в чьей тревожной и дикой пляске, в исхлестанных ветром гребнях угадывались причудливые очертания человеческих лиц, запрокинутых в нестерпимой муке голов, странно изогнутых тел животных и людей со вздыбленными волосами и напружинившимися мускулами, погибающих, сметенных, уносимых в неизвестность беспощадной стихией.

Это было похоже на приступ безумия, на головокружение, и, когда он прошел, Стефен почувствовал себя разбитым, вконец измученным. Его пробирала дрожь. Пароходик уже замедлял ход и, осторожно продвигаясь между маяками Кале, не спеша приближался к молу. Стефена затрясло как в лихорадке, он вдруг заметил, что насквозь промок и по лицу у него струйками стекает вода. С виноватым видом он воровато спрятал альбом в карман. Канаты уже были наброшены на причал, трап спущен, пассажиры быстро прошли таможенный досмотр. Но на линии, как видно, что-то случилось, так как парижский поезд еще не прибыл.

Стефена все еще знобило, и, чтобы согреться, он зашагал по платформе назад и вперед. Здесь, на суше, дождь, казалось, был не столь беспощаден, но ветер, свистевший вдоль изогнутого дугой железнодорожного полотна, дул словно бы еще резче, еще колючей и пробирал до костей. Большинство пассажиров в ожидании поезда убивали время, закусывая на ходу в вокзальном ресторане. Но Стефен, обшарив еще раз свои карманы, воздержался от подобного расточительства. Будущее было покрыто мраком неизвестности, а в настоящую минуту он являлся обладателем лишь пяти фунтов и девяти шиллингов. Вот и все, что осталось от тех десяти фунтов, с которыми он приехал в Стилуотер.

Наконец подошел поезд, и после некоторой суматохи, пронзительных свистков, шипения пара и мелодичных сигналов рожка паровоз переставили в хвост состава, и он, пыхтя, потащился в обратный путь. Стефен, забившись в угол купе, по которому так и гулял сквозняк, получал весьма сомнительное удовольствие от этого путешествия. Временами его снова начинало знобить, он понимал, что схватил простуду, и клял себя на чем свет стоит.

Когда поезд прибыл в Париж на Северный вокзал, Стефен, с минуту поколебавшись, решил – была не была, вышел, сел в метро и поехал на улицу Кастель. Ему взгрустнулось: вос-

поминания о том, как весело и беспечно вступил он когда-то впервые в этот город, нахлынули на него, и он отдался им во власть. Он жаждал простой, непритязательной и надежной дружбы Пейра – в нынешнем состоянии его духа она была ему просто необходима. Но новый жилец, появившись в дверях, выслушал его недоверчиво и тупо и заявил, что ему не оставлено никаких поручений, никаких писем... Вероятно, мсье Пейра пробудет в Оверни, в Пюи-де-Дом, до конца года, а больше ему ничего не известно.

Тогда Стефен направился в мастерскую Глина, но она оказалась на замке. Дальнейшее разочарование постигло его у дома Ламбертов, окна которого были наглухо забиты. В отчаянии Стефен отправился на квартиру к Честеру. Хотя Стефен никогда не вел точного учета деньгам, которые давал Гарри взаймы, но он знал все же, что тот, раз от разу занимая у него деньги, задолжал ему в общей сложности никак не меньше тридцати фунтов, а в нынешних обстоятельствах такая сумма казалась Стефену куда более значительной, чем прежде. Но квартира Честера тоже была закрыта, и на двери даже висел замок. Однако, когда Стефен спускался с лестницы, привратница узнала его, и ему посчастливилось получить от нее адрес Честера, который тот сообщил в открытке два дня назад: Нормандия, Нетье, гостиница «Золотой лев».

Воспрянув духом, Стефен зашел в ближайшее почтовое отделение и отправил Честеру телеграмму. Сообщая о положении, в которое он попал, Стефен просил Честера немедленно выслать долг или хотя бы часть его на имя Альфонса Биска на улицу Кастель. После того как молодая женщина в саржевом халате, восседавшая за решеткой, произвела на бумажке какие-то сложные вычисления, что заняло по меньшей мере несколько минут, Стефен заплатил сколько положено и направился в соседнюю кондитерскую Дюваля, где заказал чашку горячего шоколада с бриошью.

Подкрепившись слегка и увидев, что дождь льет все пуще и пуще и в канавах уже бурлит грязный поток, Стефен решил как можно скорее устроиться где-нибудь на ночлег. На комфорт он не рассчитывал и потому, не раздумывая долго, направился в ближайшую дешевую гостиницу-пансион «Запад», мимо которой ему не раз случалось проходить, когда он посещал мастерскую Глина.

Отведенный ему номер, в который он попал, поднявшись по не застланной ковром лестнице, оказался узким закоулком за перегородкой, но здесь, по крайней мере, было сухо и на кровати, кроме грязноватого белья, лежало еще изрядное количество одеял с синими клеймами – грубых солдатских одеял, какие обычно выдают новобранцам в лагерях, после чего государственные поставщики сбывают их куда-нибудь на сторону. Вытерпев еще несколько мучительных приступов жестокого озноба, Стефен наконец согрелся и тотчас заснул как убитый. Наутро он чувствовал себя уже лучше, хотя его и начал одолевать кашель, что, кстати сказать, ничуть его не удивило. Он опять позавтракал у Дюваля – выпил чашку кофе с пирожком – и в одиннадцать часов направился в лавочку мсье Биска.

Здесь его ожидал приятный сюрприз. Кондитер оказал ему самый сердечный прием. Его круглое лунообразное лицо засияло приветливыми морщинками, и, побранив Стефена за то, что тот не заглянул к нему еще накануне, мсье Биск с ужимками фокусника извлек откуда-то ответную телеграмму Честера. Такая телеграмма вполне могла поднять дух адресата, хотя по ней и нельзя было получить денег.

ВОСТОРГЕ ТВОЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ СПЕШИ СЮДА ОТЕЛЬ ПОГОДА  
ВЕЛИКОЛЕПНЫ ЖИВОПИСНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ  
ГАРРИ

У Стефена отлегло от сердца, когда он прочел это дружеское послание и представил себе, как с кистью и палитрой в руках он будет стоять перед мольбертом под ласковым нормандским солнцем.



У Биска отыскалось железнодорожное расписание – правда, древнее и весьма потрепанное, – и с его помощью удалось установить, что грenvilleский скорый (единственный, по-видимому, поезд прямого сообщения) уже отошел в десять часов утра, а так как почтенный кондитер был весьма настойчив в своем радушии, Стефен решил отложить отъезд на день. После обеда он направился к Наполеону Кампо, чтобы взять оставленные у него на сохранение кое-какие вещи и мольберт, а также запастись свежими тюбиками красок, холстом и лаком. За эти приобретения он выложил Кампо пятьдесят франков, пообещав перевести остальные деньги тотчас по прибытии в Нетье.

Наутро небо прояснилось, занимался погожий день, и Стефен, забрав свои пожитки, отправился на Монпарнасский вокзал. Скорый поезд, отходивший от второй платформы, не был переполнен, и Стефен без труда отыскал свободное купе. Лишь когда поезд тронулся, Стефен почувствовал, что ему все еще нездоровится: голова была тяжелая и в правом боку временами резко покалывало. Но по мере того, как поезд, стремясь вырваться из города на простор, прокладывая себе путь меж тесно обступавших его с двух сторон высоких темных домов и ныряя в туннели, усталость и апатия Стефена понемногу стали проходить. Он не отрываясь смотрел в окно, следя за мимолетным, мгновенно ускользающим из глаз пейзажем. Потянулось желтое жнивье, канавы, обсаженные тополями – извечными стражами крестьянских полей – и полные дождевой воды; на горизонте все время маячил церковный шпиль – тонкий и необыкновенно изящный; пара добрых лошадок тянула плуг; над пашней кружили вороны; показались ветхие строения какой-то фермы с охристо-желтыми черепичными кровлями, на фасадах ослепительно ярко, словно эмалированные, заблестели вывески: Бирр, Синзано, Дюбоннэ.

В полдень Стефен съел яблоко и плитку шоколада. Ландшафт за окном неприметно менялся. Борясь с дремотой, Стефен не без удовольствия отметил про себя появление маленьких фруктовых садов, обнесенных живой изгородью; живописных извилистых тропок; медленную процессию гусей, важно шлепающих по грязи к илистому пруду в сопровождении босоногой девчонки с ореховым прутиком в руках; аккуратно подстриженные ивы вдоль дороги; пожилую седовласую женщину, пасущую свою единственную корову на лужайке у железнодорожного полотна, не переставая при этом усердно перебирать вязальными спицами. Даже напитки стали иными. «Attendez! – кричали вывески. – Buvez le cidre moissoné!»<sup>12</sup>

Часа в три пополудни поезд, преодолев длинный подъем, добрался до перевала и подлетел к маленькому вокзальчику города Нетье. Стефен поспешно подхватил свои пожитки и прыгнул с высокой подножки. Окинув взглядом платформу, он убедился, что Честер не приехал его встретить. Рассудив, что приятель не мог знать наверняка, когда именно и с каким поездом он прибудет, Стефен зашагал по направлению к городу, который рассыпался по склону холма примерно в километре от вокзала и был виден весь как на ладони. По мере приближения к городу настроение Стефена поднималось. Миновав обнесенную рвом древнюю стену с бойницами, он углубился в кривые, мощенные булыжником улочки, столь узкие подчас, что островерхие кровли домов, сложенных из песчаника, казалось, смыкались у него над головой. Но вот на рыночной площади, напротив выгоревшего от солнца терракотового фасада старого постоялого двора, он увидел золоченую вывеску гостиницы.

Гостиница «Золотой лев» оказалась солидной, комфортабельной, она производила весьма внушительное впечатление. Стефен сразу это почувствовал, когда, окинув взглядом вестибюль, направился к конторке администратора, расположенной в небольшой нише под пролетом дубовой лестницы.

– Что вам угодно, мсье?

– Меня зовут Десмонд. Не будете ли вы добры сообщить мсье Честеру, что я приехал?

Последовало довольно продолжительное молчание.

<sup>12</sup> Остановитесь! Выпейте свежего сидра! (фр.)

– Вы хотите видеть мсье Честера?

– Да. Он меня ждет.

Администратор гостиницы, узкоплечий, гладко прилизанный молодой человек, еще с минуту молча разглядывал Стефена, затем произнес:

– Будьте любезны обождать, сэр.

Администратор исчез за портьерой в глубине ниши и через несколько минут появился снова в сопровождении какого-то субъекта с бычьей шеей, облаченного в форменный черный костюм в полоску.

– Вы хотите видеть мсье Гарри Честера? – Эта вежливая фраза прозвучала как-то странно угрожающе.

– Ну да. Это мой друг. Разве он не у вас остановился?

Ледяное молчание.

– Он *был* у нас, мсье. До вчерашнего вечера. Вчера мы подали ему счет и с этой минуты не видели больше уважаемого мсье Честера.

Стефен ошеломленно уставился на хозяина гостиницы. Ведь он же приехал сюда только потому, что Гарри его пригласил! И потратил при этом все деньги до последнего франка на железнодорожный билет! И тут, словно молния, сверкнула мысль: Честер, снова оказавшись без гроша в кармане, вызвал его сюда потому, что надеялся перехватить у него еще немного денег.

– Если мсье Десмонд и в самом деле мсье Десмонд, – эти слова были произнесены с уничтожающим сарказмом, – то ваш приятель оставил для вас письмо. – Конверт – уже распечатанный – был брошен на край конторки таким жестом, словно он содержал в себе нечто омерзительное.

*Друзище!*

*Кто знает, передадут ли они тебе это письмо. Если передадут, сообщая, что я, к моему великому сожалению, вынужден был исчезнуть в неизвестном направлении. Я полагал, что мы вместе найдем какой-нибудь выход из положения – как говорится, ум хорошо, а два лучше, – но бухгалтерия гостиницы забежала вперед и спутала мне все карты. Думаю пошататься немного по югу, загляну в Ниццу, попытаю счастья за игорным столом. Так или иначе, мы еще, разумеется, свидимся. Прими и прочее... Ничего, брат, не напишешь, обстоятельства сильнее нас.*

*Твой Гарри*

*P. S. Во всем городе ни одной стоящей женщины, но непременно отведай местного сидра. Превосходная штука!*

Стефен нервно смял это наспех нацарапанное карандашом послание. Он всегда знал, что на Честера нельзя полагаться, но только сейчас открылась ему до конца вся глубина этого оголтелого эгоизма, скрытого под маской веселого, беспечного, обаятельно-непринужденного дружелюбия.

Хозяин гостиницы и администратор с нескрываемым презрением рассматривали его из-за барьера, за которым помещалась конторка. После чего ему было нанесено заключительное оскорбление:

– Мсье, конечно, понимает, что у нас сейчас не найдется для него свободного номера. И вероятно, не будет настаивать.

– Можете не беспокоиться, – сказал Стефен, повернулся и вышел на улицу.

## Глава II

Без единого франка в кармане он стоял посреди рыночной площади незнакомого городка и с чувством все возрастающей тревоги старался отдать себе отчет в своем положении. Впервые в жизни у него не было ни гроша за душой. Обычно деньги на его содержание поступали неукоснительно, подобно смене дня и ночи, и он принимал это как нечто само собой разумеющееся, обусловленное тем местом, какое он занимал в обществе, и даже самым фактом своего появления на свет. Горькая усмешка искривила его губы, когда он подумал о том, какое могущественное средство принуждения пустил в ход отец. Однако природное упрямство и на этот раз сослужило ему службу. Прежде всего, решил он, нужно найти какое-нибудь, хоть временное, пристанище.

Осуществить это оказалось куда легче, чем он предполагал.

Городок был испокон веков облюбован туристами, и еще задолго до наступления ночи Стефен водворился в крошечной комнатенке под самой крышей в глубине какого-то двора на Соборной улице. Так как у него были с собой вещи, хозяйка – пожилая женщина, довольно приятная с виду – не потребовала денег вперед. Комната сдавалась всего за двенадцать франков в неделю, и Стефен решил – будь что будет! А завтра он во что бы то ни стало достанет денег и расплатится с хозяйкой. Он сам понимал, что здесь, в этом городке, ему никак не удастся заработать на хлеб своей кистью. Однако быть того не могло, чтобы он, с его университетским образованием и дипломом бакалавра в кармане, не сумел обеспечить себе скромный заработок, который помог бы ему на первых порах встать на ноги. Черт побери, а что, если удастся даже отложить немного, чтобы оплатить счет Честера в гостинице! Стрела, пущенная в него на прощание хозяином, попала в цель, и рана все еще ныла. А к зиме он вернется в Париж с небольшой, но достаточной суммой в кармане и разыщет Пейра. Эх, если б только он не чувствовал себя так мерзко! Этот кашель, который он подхватил, переправляясь через Ла-Манш, совсем его замучил. Но страстное желание доказать самому себе, что его не так-то легко сломить, преодолело все, и Стефен направился к центру города.

Отсюда он начал свое предварительное знакомство с городом и прошелся по главной магистрали – улице Республики. Большинство магазинов, даже самых маленьких, имели солидный, процветающий вид, характерный для городов, расположенных в богатой сельскохозяйственной местности. В витрине скобяной лавки стояли лопаты, косы, вилы, цинковые ведра, краснозубая борона и множество других подобного рода предметов. Окна кондитерской выглядели очень нарядно; в них красовались соблазнительные пирожные и миндаль в сахаре, уложенный в виде букетиков, напоминающих флер-д'оранж, а в витрине молочной на углу на фарфоровом подносе между двух кувшинов, до краев наполненных молоком, желтой громадой высилась колоссальная гора топленого нормандского масла.

Рядом с писчебумажным магазином Стефен увидел за стеклом небольшой витрины написанные чернилами карточки объявлений. Неторопливо, внимательно он прочел их все, одно за другим, и отвернулся. Он не умел чинить плетеную мебель, не умел настраивать рояли и не собирался арендовать полдачи на высоком скалистом морском берегу в окрестностях Гренвиля. Он побрел дальше по улице и увидел редакцию местного еженедельника «Курьер де Нетье». Последний номер газеты был вывешен в вестибюле для всеобщего ознакомления. Но с тощих его столбцов, посвященных купле и продаже скота и удобрений, уходу за коровами и кобылами, фазам луны и часам прилива у моста Сен-Мишель, не блеснуло ему ни искры надежды.

Что же делать дальше? Очевидно, нужно было с кем-то посоветоваться. Не раздумывая долго, Стефен вошел в мэрию и вежливо и скромно осведомился у одного из служащих, который показался ему наиболее симпатичным, можно ли получить у них в городе какую-нибудь

работу. Вопрос несколько ошеломил молодого чиновника, но он держался доброжелательно и, как видно, был неглуп. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, затем медленно покачал головой.

– Это очень сложно... В таком небольшом местечке, как наше, население... – чиновник улыбнулся, развел руками, поправил свои крахмальные манжеты, – население не слишком-то приветливо относится к иностранцам.

После этого Стефен еще часа два безуспешно рыскал по городу, пока не прошел его из конца в конец. Когда стало смеркаться, он, усталый и отчаявшийся, вернулся в свою каморку. Обшарив карманы, он проверил их содержимое: всего-навсего пятнадцать су. При виде этих жалких монеток, лежавших у него на ладони, в нем снова заговорила гордость. Нет, он не может, не позволит себе сдаться.

На следующий день в поисках какой-нибудь, хоть самой тяжелой физической работы Стефен обошел пешком окрестные фермы. Вероятно, он отшагал километров двадцать, не меньше. И все напрасно. На фермах не было недостатка в рабочих руках. А кое-где, приняв его за бродягу, хозяева даже спускали собак. Какой-то сердобольный крестьянин, копнивший вилами сено во дворе, заколебался было, тронутый, как видно, страстной мольбой, прозвучавшей в голосе Стефена, но нормандское скопидомство все же взяло верх. Крестьянин отрицательно покачал головой: нет, дескать.

– Больно уж ты слабоват с виду, *mon petit*<sup>13</sup>, шуплый какой-то... совсем заморыш. Но погоди... – И, повернувшись к кухонной двери, он крикнул: – Жанна, принеси-ка этому парню поесть.

Послышался стук деревянных сабо, и на пороге появилась миловидная женщина с красными, голыми по локоть руками. Окинув взглядом Стефена, она вынесла ему кусок пирога и кувшин сидра. Пока он насыщался, присев на низенькую доильную скамеечку, стоявшую возле крыльца, фермер и его жена наблюдали за ним и обменивались вполголоса замечаниями по его адресу, а мальчишка в черном передничке таращил на него глаза, укрывшись за материнской юбкой. Стефен сидел, оцепенев от стыда. «О господи, – мысленно простонал он. – Я совсем как персонаж с гравюры Котмена... Неужто я уже дошел до нищенства!» Но пирог, политый крепким мясным соусом, был очень хорош, а легкий кисловатый сидр немножко подбодрил Стефена, и, собравшись с силами, он пустился в обратный путь – в Нетье.

В сумерках он добрал до Соборной улицы. Весь день он держался, не позволял себе падать духом, но теперь его охватило отчаяние. Эта крохотная, узкая, чужая комната, запах гнилого дерева, плесени и камфары, скрипучие половицы, напоминавшие о себе при каждом шаге, чувство безграничного одиночества, обида на Честера за обман, полная беспросветность впереди и страх, что у хозяйки уже зародились на его счет сомнения, – все это разом обрушилось на Стефена и придавило его. Он ничком повалился на кровать и, повернувшись к выбеленной известкой стене, разрыдался, как ребенок.

Приступ отчаяния скоро прошел, но тут на беду возобновился кашель. Всю ночь он мучил Стефена, не давал ему уснуть. Боясь потревожить чей-нибудь покой, Стефен изо всех сил старался удерживаться от кашля, и от этого приступы стали возобновляться все чаще и чаще. Наконец, уже на рассвете, он забылся тяжелым сном, натянув на голову одеяло.

Он проснулся поздно, было уже около одиннадцати часов. Первая блаженная минута полного отдыха и покоя сменилась возвращением к безысходной действительности. Стефен встал, оделся и, не побрившись, пошел в город. Лихорадочная тревога сжигала его мозг, а ноги были как ватные. Он бесцельно, оступело брел по улице, сам не зная куда. Внезапно, когда он, остановившись на краю тротуара, собирался во второй раз пересечь рыночную площадь, за

<sup>13</sup> Мой мальчик (*фр.*).

спиной у него раздались торопливые шаги и чья-то рука тронула его за локоть. Вздвогнув от неожиданности, он обернулся. Перед ним стоял чиновник из мэрии.

– Извините, мсье... – Молодой человек совсем запыхался. – Я все смотрел в окно, пока обедал, все поджидал, не появитесь ли вы снова. Я, видите ли, после вашего посещения навел кое-какие справки для вас и узнал, что мадам Крюшо – они с мужем держат здесь бакалейную торговлю, – молодой человек махнул рукой куда-то в сторону, – ищет преподавателя английского языка для своих девочек. У нее две маленькие дочки. Быть может, вы подойдете ей. Во всяком случае, попытать счастья стоит.

– Благодарю вас, – пробормотал ошеломленный Стефен. – Очень, очень вам признателен. Молодой человек улыбнулся.

– Желаю удачи. – Он сказал это по-английски; старательно выговаривая слова, затем, как видно очень довольный достигнутым результатом, пожал Стефену руку и приподнял шляпу. Он постоял еще немного, глядя Стефену вслед, пока тот торопливо пересекал площадь.

Бакалейная лавка Крюшо стояла на самом видном месте рыночной площади. Двойные зеркальные витрины и отливающая глянцем вывеска, гласившая: «Реннские товары», придавали ей весьма преуспевающий вид, свидетельствуя о процветании этого предприятия, торговавшего весьма разнообразными и соблазнительными продуктами питания. Поток покупателей не иссякал в его широких дверях, осененных окороками, сетками с лимонами и связками бананов, подвешенными к притолоке на крюках. Корзины с отборными овощами стояли у входа, несколько затрудняя доступ внутрь. Вдоль стен на полках в щедром изобилии высились груды разнообразных продуктов, добытых на суше и на море: свиное сало и оливковое масло, сыр, сосиски, гусиная печень, потроха и голье, сардины и анчоусы, засахаренные фрукты, кофе и пряности, старый выдержанный коньяк, а также прочие вина и всевозможные горячительные напитки... Пирамиды бутылок и банок ослепительно сверкали, пол был посыпан свежими опилками.

Войдя в лавку, Стефен невольно приостановился; он был смущен и растерян: шум, толчея, громогласно отдаваемые распоряжения и суматоха, которую поднимали двое приказчиков в белых халатах – крепкая, коренастая молодая нормандка и хромой, забитого вида юноша, – привели его в замешательство.

Однако появление Стефена недолго оставалось незамеченным – он услышал за собой резкий женский голос и почувствовал, что вопрос обращен к нему:

– Что вам угодно, мсье?

За небольшой конторкой стояла статная женщина лет тридцати восьми, с соломенно-желтыми волосами, гладким розовым лицом, розовыми ушами, отягощенными массивными золотыми подвесками, и весьма округлыми формами, плотно обтянутыми хорошо пригнанным платьем. Ее пышный бюст и наглый взор, казалось, царили над суматохой и властно управляли ею. Лиловое платье было сшито по последней провинциальной моде – с квадратной кружевной вставкой у ворота. Туалет дополняли многочисленные кольца, браслеты и большая брошь – камея.

– Прошу прощения, – негромко пробормотал Стефен, протискиваясь к конторке. – Моя фамилия Десмонд. Мне стало известно, что вы ищете гувернера – преподавателя английского языка для ваших детей.

Узнав, что перед нею не покупатель, мадам Крюшо погасила свою механическую улыбку. Прищурившись, она разглядывала Стефена. Это был холодный, оценивающий взгляд – не могло быть сомнения в том, что на базаре мадам Крюшо могла с точностью до миллиграмма определить вес хрюкающей живности, откормленной на убой, и безошибочно оценить все ее качества. Но слово «гувернер», по счастливой случайности сорвавшееся у Стефена ненароком с языка, польстило тщеславию мадам, которое являлось доминирующей чертой в характере этой особы и было, в сущности, основной причиной, побудившей ее обучать своих дочек

английскому языку. К тому же стоявший перед нею молодой человек производил довольно благоприятное впечатление, был воспитан и, по-видимому, достаточно застенчив и робок – словом, не вызывал опасений.

– Мсье может рассказать мне что-нибудь о себе?

Стефен рассказал – вполне честно и откровенно.

– Значит, мсье учился в Оксфорде? – Эмалево-голубые глаза мадам заблестели, но этот блеск был немедленно притушен в интересах сделки. Мадам пожала плечами, выражая сомнение. – Конечно, мы должны верить мсье на слово.

– Заверяю вас...

– О-ля-ля! Я готова верить вам, мсье. Но, принимая во внимание нежный возраст моих малюток, я, как вы сами понимаете, должна требовать от наставника самого высокого образца воспитания и морали.

– Разумеется, мадам.

– В таком случае... – Оборвав беседу, она резко крикнула что-то приказчикам. Распоряжения следовали одно за другим, словно ураганный огонь артиллерийской батареи: – Нет же, нет, Мари, не эти яйца, дуреха, их уже отобрала мадам Уляр... Жозеф, сколько раз тебе говорить, что надо пересыпать сахар из распоротого мешка! Какое жалованье хотите вы получать, мсье?

Стефен лихорадочно прикидывал, сколько ему нужно, чтобы не умереть с голоду.

– Ну, скажем, если я буду заниматься с вашими дочерьми ежедневно... тридцать франков в неделю.

Мадам Крюшо в ужасе воздела к небу пухлые, униженные перстнями руки. Затем вкрадчиво улыбнулась, сверкнув золотым зубом, – словно выпустив в Стефена позолоченную пулю.

– Мсье шутит?

– Но посудите сами... – Покупатели то и дело толкали Стефена, задевали его локтями, он чувствовал, как краска заливает его лицо. – Я говорю вполне серьезно.

– Мы, мсье, люди честные – мсье Крюшо и я, – но, к сожалению, далеко (о, далеко) не богачи. – Самое большее, что муж уполномочил меня предложить вам, это двадцать франков.

– Но, мадам... Я должен как-то жить.

Мадам Крюшо грустно покивала золотистым шиньоном.

– Мы тоже, мсье.

Стефен закусил губу, вне себя от бешенства и обиды. Гордость его была уязвлена. За одну свою каморку он должен платить двенадцать франков в неделю. Как же, черт побери, может он просуществовать на остальные восемь франков? Нет, сколь ни отчаянно его положение, он не позволит так издеваться над собой. Он приподнял шляпу, намереваясь откланяться. Но мадам Крюшо, которая вовсе не желала упустить его и, пока он колебался, искоса сверлила его взглядом, словно хотела просверлить насквозь, остановила его мягким движением руки.

– Быть может... – Мадам наклонилась вперед, в голосе ее звучала почти материнская забота: – Быть может, если мы предложим мсье завтрак, это несколько поможет делу? Хороший, сытный завтрак.

Захваченный врасплох, Стефен растерялся. Чувство невыносимого унижения заставило его опустить глаза. Он пробормотал:

– Хорошо, я согласен.

– Отлично. Значит, по рукам. Завтра можете приступать к занятиям. Приходите к одиннадцати утра. Учтите, что я буду предъявлять к вам самые высокие требования. И надеюсь, что в дальнейшем мсье не будет забывать бриться.

Стефен молча наклонил голову. Он не в состоянии был произнести ни слова. И все же, невзирая на все унижения, на всю постыдность этой сделки, он чувствовал облегчение. Ежедневный завтрак и двадцать франков в неделю – значит, он пока что спасен!

Выходя из лавки, он слышал, как где-то в недрах ее мадам торжественно и громогласно возвещала:

– Мария-Луиза! Викторина! Ваша добрая мамочка только что наняла вам английского учителя.

## Глава III

И вот в душной, отупляющей атмосфере маленького провинциального городка для Стефена началась новая, странная жизнь. Большой соборный колокол будил его по утрам тремя гулкими ударами, которые нарушали торжественный покой пустой, мощенной булыжником площади, возвещающая начало семичасовой мессы и пугая голубей. Одевшись, Стефен с грохотом сбегал по лестнице. Теперь, по крайней мере, ему не надо было покидать дом украдкой, встреча с хозяйкой уже не страшила его. Пересекая площадь и направляясь к кафе «Для рабочих», расположенному в нескольких шагах от высокой стены монастырского сада, он неизменно встречал на своем пути одних и тех же благочестивых особ женского пола в черных одеяниях и нескольких монахинь, попарно выплывавших (или, как казалось Стефену, вылетавших на широко распластанных крыльях своих чепцов) из соборных дверей. Кафе, над входной дверью которого уныло свисала увядшая ветка самшита, не принадлежало к числу наиболее почтенных заведений города. Это была просто небольшая кухонька, помещавшаяся в приземистом каменном здании. Здесь стоял грубо сколоченный стол и несколько деревянных скамей без спинок, и здесь за пять су Стефен получал стандартный завтрак: чашку черного кофе с изрядным количеством гуши и порцию белого вина в толстеном стакане, сочетание, обладавшее совершенно поразительной способностью восстанавливать силы. Порой к завтраку прилагалась вчерашняя вечерняя газета «Интеллижанс де Ренн», которую он пробежал глазами за полчаса. Или же он мог поболтать с Жюли, невозмутимой темноглазой девушкой, стоявшей за стойкой незамысловатого бара и с достоинством обслуживавшей посетителей, а также, по видимому, оказывавшей еще кое-какие услуги некоторым из них – заезжему коммивояжеру, проводнику спального вагона, а быть может, и возчику, доставлявшему в кафе уголь.

Ровно в одиннадцать часов, минута в минуту, Стефен появлялся в квартире Крюшо, расположенной за лавкой, в том же доме, и имевшей отдельный боковой вход. Затем в увитой плющом беседке в углу небольшого, примыкавшего к дому садика или – если шел дождь – в тесной, заставленной мебелью гостиной, которую мадам именovala «салонem», Стефен делился своими познаниями в английском языке с девочками Крюшо: одиннадцатилетней Викториней и Марией-Луизой, которой только что исполнилось девять лет.

Это были довольно славные девочки, избалованные слегка, но не лишенные очарования, присущего их нежному возрасту. Порой они бывали даже очень милы, особенно младшая – прелестное создание с каштановыми кудрями и румяными, как яблоко, щеками. Ладить с ними было нетрудно, и Стефен вскоре привязался к ним. Но все же кое-какие характерные черточки они унаследовали от родителей: девочки отлично знали цену всему, бойко считали, как завзятые кассирши, и без запинки повторяли прописные истины о достоинствах бережливости. Каждая являлась обладательницей небольшой металлической копилки в форме Эйфелевой башни, ключ от которой вместе с образком в виде медальона свисал на ленточке с шеи. Случалось, девочки простодушно повторяли то, что им приходилось слышать дома от взрослых.

– Мсье Стефен! – Он добился, чтобы они называли его по имени. – Мама вчера говорила папе, что вы, должно быть, ужасно бедны.

– Видишь ли, Викторина, должен признаться, что твоя мама не ошиблась.

– Но папа сказал: «Ладно, по крайней мере, он не пьяница».

– Это хорошо... Твой папа поступил как настоящий друг.

– О да, мсье Стефен. Он еще сказал, что хотя вы сделали, конечно, какую-то пакость дома, а потом убежали, но все-таки непохоже, чтобы это было что-нибудь серьезное, какое-то настоящее преступление.

Стефен рассмеялся – несколько принужденно.



– Ну, хватит болтать... Пора приниматься за чтение.

Живые, смысленные, они быстро делали успехи, и он уже начал читать с ними «Алису в Стране чудес». Книжка так увлекла их, что они легко усваивали даже наиболее трудные обороты.

Мсье Крюшо не часто появлялся на уроках. Обычно он ограничивался тем, что, приотворив дверь, с хозяйским видом заглядывал в комнату. Это был мужчина среднего роста, с суетливыми манерами, пышными черными, закрученными кверху усами и бегающими, шоколадного цвета глазками с желтоватыми белками. Он носил гетры и всегда и всюду – на улице и в помещении, за исключением одной лишь священной обители, именуемой «салон», – появлялся в блестящей твердой соломенной шляпе-канотье. Местом его постоянного пребывания была, разумеется, лавка, но два дня в неделю он производил закупки на рынке в Ренне – соседнем городе, откуда он сам, так же как и его супруга, был родом. Альбер Крюшо, по всей видимости, сохранял верность своей супруге, будучи накрепко спаян с ней двумя прелестными живыми свидетельствами ее благосклонности, а превыше всего – обоюдной и неукротимой страстью к наживе, однако бывали минуты, когда вид мсье Крюшо говорил яснее слов, что внушительные формы его супруги, ее резкий, пронзительный смех и повелительный голос могут довести до белого каления любого мужчину средней комплекции. Не то чтобы он открыто проявлял свою антипатию, о нет! Только обтянутые гетрами ноги его начинали беспокойно шаркать по полу да шоколадные глазки вспыхивали тревожным и злобным огоньком.

Короче говоря, невзирая на ее улыбку, любезную манеру и благосклонный блеск золотого зуба, появление мадам Крюшо нагоняло на всех страх. А она появлялась в гостиной ежедневно, дабы «самолично» присутствовать на уроке, и сидела, выпрямившись, с видом надзирательницы, переводя малоосмысленный, но испытующий взор со Стефена на девочек, что смущало их и заставляло делать ошибки.

– Вы понимаете, мсье... Я хочу, чтобы девочки умели не только читать, но и болтать по-английски... И декламировать стихи... словом, все, как положено в лучшем обществе.

Подчиняясь ее неоднократным требованиям, Стефен заставил девочек выучить наизусть первую строфу стихотворения «Жаворонку». И вот в день, назначенный для проверки достигнутых девочками успехов, мадам появилась в «салоне» в сопровождении трех своих приятельниц – жен крупных городских лавочников, представлявших *haute bourgeoisie*<sup>14</sup> города Нетье. Дамы с выжидательным видом расселись на золоченых, фабричной работы креслах «салона».

Первой должна была подвергнуться испытанию Мария-Луиза. Ее поставили на середину поддельного обюссоновского ковра.

– «Ты здесь, веселый гений», – начала она и запнулась, потом поглядела по сторонам и неожиданно фыркнула.

– Начни снова, Мария-Луиза, – ласково сказал Стефен.

– «Ты здесь, веселый гений...» – Девочка снова запнулась, быстро-быстро захлопала ресницами и принялась накручивать на палец конец кушака, исподлобья робко поглядывая на мать.

– Продолжай, – произнесла мадам Крюшо каким-то не своим голосом.

Мария-Луиза с мольбой взглянула на учителя. На лбу у Стефена выступила испарина. Заискивающим голосом, от которого ему самому стало тошно, он сказал:

– Ну-ну, читай дальше, деточка. «Ты здесь, веселый гений...»

На мгновение воцарилась тишина. Мадам Крюшо, казалось, окаменела. Затем она неожиданно наклонилась вперед и, не говоря худого слова, отвесила дочери оплеуху. Мария-Луиза разрыдалась. Все оцепенели от ужаса, устремив возмущенный взгляд на Стефена. Затем всхли-

---

<sup>14</sup> Крупную буржуазию (фр.).

пывающее дитя было бурно прижато к материнской груди, а в рот ему засунут шоколадный батончик. Тут из лавки донесся громкий голос служанки:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.